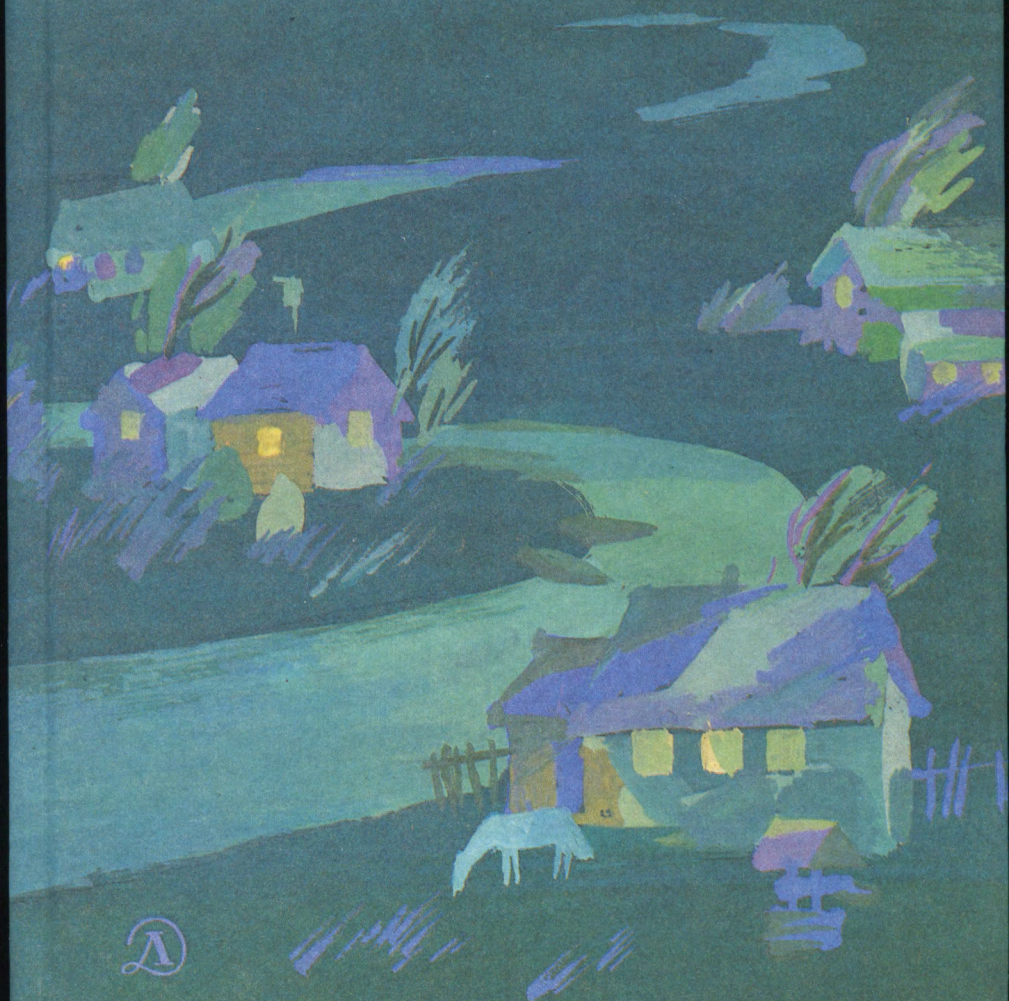
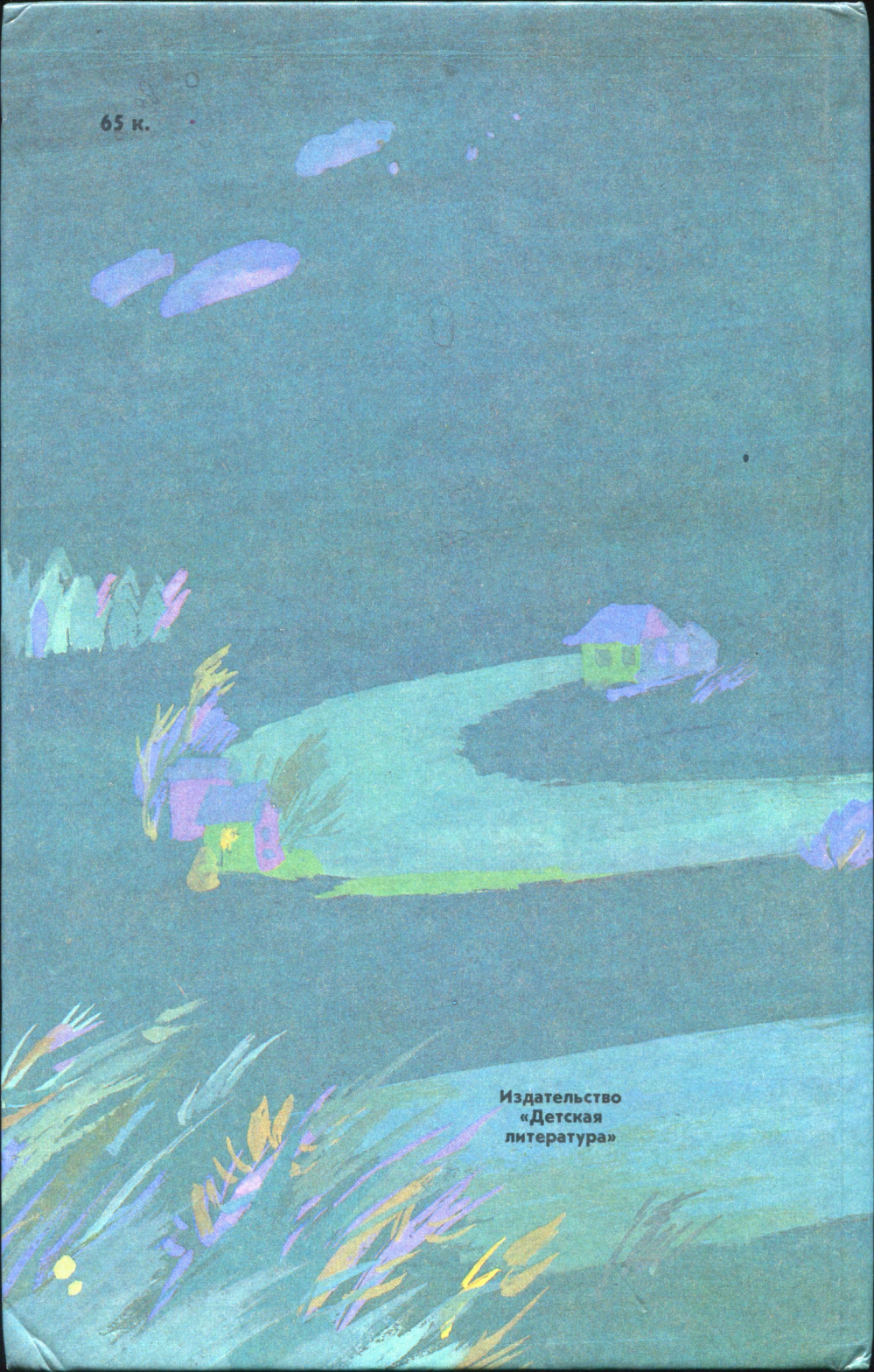


# СВЕТИТ МЕСЯЦ





65 к.



Издательство  
«Детская  
литература»

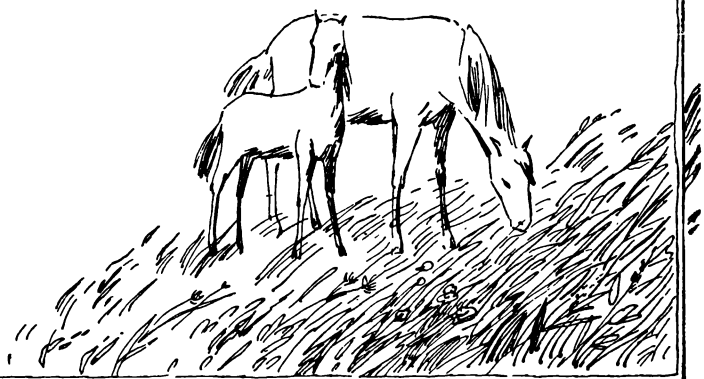






# СВЕТИТ МЕСЯЦ

РАССКАЗЫ



МОСКВА • Детская литература • 1990

Художник ЗОЯ ЯРИНА

**С24      Светит месяц: Рассказы/Предисл. С. Иванова; Редакторы-составители Н. Е. Дубань и М. С. Ефимова; Художн. З. Ярина.— М.: Дет. лит., 1990.— 208 с.: ил.**

**ISBN 5—08—002034—2**

Рассказы начинающих литераторов, раскрывающие различные стороны жизни ребят и взрослых. Это и рассказы о военном и послевоенном детстве, современные рассказы, где остро стоят проблемы отношений в семье, школе, рассказы, посвящённые экологии.

**С  $\frac{4803010201-322}{М 101(03)-90}$  289—90**

**БК 84 Р7**

**ISBN 5—08—002034—2**

© Зоя Ярина. Иллюстрации, 1990  
© Сергей А. Иванов. Предисловие, 1990

## ВМЕСТО СКУЧНОГО ПРЕДИСЛОВИЯ...

**П**ередо мной лежит внушительная стопка напечатанных на машинке листков — рассказы молодых писателей, будущая книга. Писатели, что собрались здесь, под крышей этого книжного дома, очень разные. Да по-иному и быть не может: проживи на свете хоть сто лет, а двух одинаковых людей не найдёшь. Другой раз, впрочем, бывает: встретишь похожих. И несказанно удивишься, как чуду,— надо же, похожи!

Разные люди. И рассказы очень разные: там грусть, тут веселье. Вот идёшь, задумавшись, по сонной, залитой полуденным солнцем деревенской улице. А вот топчешь снег в морозном московском дворе, ожидая, когда ж наконец глянет в окошко любимая девчонка с такой несовременной длинной русой косой... Выглянула! И ты счастлив. А рассказ кончился.

И как же тогда сказать — про что эта книга? Я бы сказал, что она про жизнь твоей страны. А стало быть, и про твою собственную. И ещё про многие другие жизни. Можно их рассмотреть не спеша, можно о них подумать. Этим, кстати, и хорош сборник рассказов. Потому что в повести или в романе так или иначе говорится про двух-трёх главных героев. А здесь их много: в каждом рассказе — свой. Правда, рассказы коротки. Пять страниц пролетело — конец. О чём же рассказ? Что за герой? Но это уж твои, как теперь говорят, проблемы: не пропустить ни одного слова, всё правильно и точно понять.

Однако стоп. Неужели все эти рассказы так уж прекрасны, что нужно вчитываться в каждое слово?.. Как тут ответить? Мне и самому они дороги далеко не все. И я точно знаю, что этот рассказ хорош, а этот — куда слабее.

Я написал: «Точно знаю...» А так ли точно на самом деле?

В литературе — да, особенно в литературе — очень многое зависит от твоего вкуса. Скажешь: ерунда какая-то! А оказывается, это просто вкус тебя подводит. Потому не торопись и всё же постарайся вчитаться в каждое слово. Авось сквозь тучи твоей самоуверенности и проглянет солнышко того смысла, который был сперва тебе не замечен. И обязательно представь, сколько волнения, сил, а то и слёз — настоящих, мокрых, — а то и бессонных ночей (почему-то многие писатели часто работают именно по ночам) потрачено на эти страницы.

И однако ж, несмотря даже на все старания, какой-то рассказ понравится тебе больше, а какой-то... Но я готов дать слово, что плохих здесь нет. Зато много есть хорошего, по-настоящему честного.

Наверное, надо бы назвать те рассказы, которые мне кажутся действительно хорошими. Я думал так поступить. А потом не стал. Дело в том, что со многими авторами этого сборника я знаком, с некоторыми дружу. А некоторые даже считают себя моими учениками.

Ты сейчас, возможно, подумаешь: «Ну и признанице — испугался правду сказать!»

Не испугался я. А лишь не хочу обидеть. Писателю от обидного слова так иной раз бывает больно!

Здесь много разных взглядов на жизнь, много различных точек зрения. Присмотрись, выбери то, что тебе подходит. Не откидывай сразу и того, что будто бы не подходит. Подумай сначала. Писатели не самые глупые люди на свете. А главное, они видят то, что

может заметить не каждый, тонко слышат и глубоко чувствуют.

А как это «глубоко»? А так: сквозь толщу жизни, сквозь дни и даже годы. Причём заглядывают не только в прошлое, но и в будущее! Чтобы понять, о чём хочет сказать писатель, надо остановиться, сказать себе: «А-а... вот, про что он пишет, этот человек, который остро чувствует и тонко слышит — через толщу жизни. Надо запомнить, надо подумать».

И ничего, если у тебя, быть может, не появится абсолютно точного ответа, как при доказательстве теоремы. Это не плохо. Это, скорее, даже хорошо... Однозначные решения легко приходят, когда ты слушаешь записи какой-нибудь группы: врубил и балдеешь.

Только не надо думать, будто я против вашей музыки. Я и сам частенько «врубаю». Я хочу сказать о другом. В такой музыке, в развлекательных телепередачах ты как бы катишься по желобку, который для тебя придумали. И влево-вправо тут не убежишь. А литература, книжка дают исключительно важную для нас возможность подумать, сделать выбор и решить самому. Литература более всего даёт возможность человеку осознать себя человеком... И здесь мне хочется вспомнить Александра Сергеевича Пушкина: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать!»

Пожалуйста, не забывай эти прекрасные и великие слова, когда будешь читать наш сборник, да и вообще любую книгу.

В добрый час!

*Сергей Иванов*



Виктория Авдеенко

## ДВЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

**С** точки зрения бабушки, эта история в школе произошла очень своевременно и не случайно. Бабушка предвидела, что всё будет именно так.

А с точки зрения Мишки, эта история произошла случайно и тем более не вовремя. Потому что в школе в этот момент шёл урок. А на уроках вообще никакие истории происходить не должны. Надо сидеть тихо и решать задачки. К тому же выдающегося здесь ничего не было. С некоторыми людьми подобные истории происходят по несколько раз в день, и за каждую из них попадает.

Правда, у Мишки особый случай. Он относился к таким людям, которые никогда не мечтают слетать на Луну или, например, спуститься с аквалангом на морское дно, потушить пожар или совершить какой-нибудь другой подвиг. Он просто не уверен, что у него хватит сил хоть на один из этих поступков.

Одним словом, Мишка был тихим, робким, нерешительным человеком. А тут ещё одно обстоятельство наложилось. Нашёлся один самоуверенный «храбрец», который тоже не мечтал полететь на Луну, потому что

у него и на Земле было достаточно дел, и привязался к Мишке. Начал с того, что щёлкнул его однажды по затылку, а сдачи не получил. И ему это очень понравилось. «Храбреца» этого с рыжей шевелюрой, как у льва, так и звали Лёвка. Был этот Лёвка совершенно несносным ребёнком. Единственное, чего он боялся — это дедова ремня, который дед даже в брюки не заправлял. А просто перебрасывал через плечо или на шею надевал вместо украшения. А когда с Лёвкой разговаривал, то ремнём перед собой помахивал. Иначе Лёвка не понимал.

У Мишки такого ремня не было. Поэтому его можно было и в школе на уроке поколотить, и на улице подножку подставить, а если он шёл не один, а с бабушкой, то кулаком погрозить из-за угла.

В душе Мишка преодолевал свою робость. Но стоило ему выйти на улицу и увидеть Лёвку, как он тут же розовел, как фруктовое мороженое, а затем зеленел, как капустный лист. И ничего с собой поделатъ не мог.

С точки зрения бабушки, именно солнечный зайчик помог Мишке преодолеть робость. Однако Мишка с этим не согласился. Но свою точку зрения назвать отказался. Видимо, для этого были серьёзные причины.

Хотя зайчик действительно существовал. Самый настоящий — солнечный.

Он появился весной, когда ужасно хотелось чего-нибудь нового, потому что всё старое надоело. Надоело учить уроки и писать в тетради, надоело целый урок сидеть на месте и смотреть на вечно вертящуюся перед глазами рыжую шевелюру Лёвки. И вообще уже ничего не хотелось. Поэтому Мишка с неохотой шёл в школу, опустив голову. Даже не шёл, а плёлся.

И вдруг перед ним на траву прыгнул солнечный зайчик. И замер. Мишка тоже замер. Медленно, тихо, чтобы не вспугнуть зайчика, повернул голову посмотреть, у кого зеркало. Но солнечный зайчик прыгнул ему прямо в глаза, Мишка зажмурился, так ничего и не увидев.

А когда открыл глаза, то солнечный зайчик кружил по поляне. Мишка попытался поймать его ладонями, затем набросил куртку и сам прыгнул сверху. Подманивал его, как котёнка, и разговаривал, как с живым, но ничего не получалось.

А потом солнечный зайчик гулял по школьной доске за спиной учительницы. Мишка увидел, что зеркальце принадлежало Иринке, девочке с последней парты.

Мишка посмотрел на неё внимательно, даже как-то по-новому. Оказывается, какие длинные косы бывают у девчонок и банты коричневые под цвет платья. А улыбалась Иринка хитро-хитро. И вообще она немножко похожа на лису.

Иринка засмеялась, будто услышала Мишкины мысли, и направила зайчик ему в лицо. Мишка увернулся и снова взглянул на девочку. Иринка опять посветила солнечным лучиком, но Мишка снова смотрел на неё. И наверное, просмотрел бы весь урок, если бы учительница не постукала карандашом по столу.

Правда, было непонятно, кому предназначался этот стук. Может, Лёвке, который вертелся по сторонам, или его соседке, которая постоянно что-то жевала... Но Мишка на всякий случай уткнулся в тетрадку.

И хотя в школе на перемене все ребята гонялись за солнечным зайчиком, по утрам он встречал только одного Мишку. И в школу он теперь не плёлся. А, наоборот, торопился. Знал, что его ждут.

Так продолжалось изо дня в день. Было тепло и весело, и рядом был солнечный зайчик.

Однажды на перемене Лёвка подставил Иринке ножку. Иринка упала, а зеркало раскололось на две половинки.

Все замерли. Лёвка даже испугался. Огляделся по сторонам, нет ли деда с ремнём. Не было. Успокоился и побежал дальше.

Девочки немного покрутились около Иринки и тоже





побежали играть. И она осталась стоять одна, сложила две половинки зеркала. И заплакала.

Но никто не видел, потому что все ребята уже давно забыли, что произошло. Играли, бегали.

Видел только один Мишка. Он стоял чуть в стороне около колонны, смотрел на Иринку. И совсем не знал, что ему делать. Не было больше зеркала. Не было солнечного зайчика. И горе казалось совсем непоправимым. И у Мишки на глазах появились слёзы.

На уроке учительница проставляла оценки за год. В классе стояла возня, хотя и было задано решать примеры.

Рыжая голова Лёвки то вертелась, как волчок, то взмывала вверх, как подброшенный мячик. Вот-вот оторвётся и вылетит в окно. То глухо стучалась лбом о парту.

Мишка нарисовал эту лохматую голову на полях своей тетради, подрисовал рога и написал: «Лёвка».

А учительница сказала:

— Что-то ты, Лёва, вертишься много. И оценка в четверти у тебя не выходит. Придётся твою тетрадь проверить. Готовься.

Лёвка обернулся и без спросу схватил Мишкину тетрадь, чтобы списать примеры. И застыл в изумлении, увидев свой портрет.

Мишка тоже застыл, только от страха и ужаса. Потому что Лёвка в любой момент мог повернуться и вмазать. От этой мысли у Мишки помутилось в глазах.

Солнечный зайчик, совсем крохотный, скользнул по его парте и остановился на учебнике по арифметике. Скакнул на Лёвкину голову и обратно. И так он метался, как маятник, до тех пор, пока Мишка не взял учебник в руки.

Всё перемешалось от волнения у него перед глазами: и солнце, и рыжая шевелюра Лёвки, и монотонные замечания учительницы, и возня в классе, и шорох листьев за окном...

Мишка поднял учебник и с размаху треснул по Лёвкиной голове. И его рыжая шевелюра вмиг потускнела. Класс замер. Потом всё поплыло и закрутилось...

...А когда Мишка очнулся, рядом стояла бабушка. Урок уже закончился. Все дети разошлись по домам.

Бабушка сложила в портфель учебники. Взяла за руку своего храброго внука и вышла с ним из класса.

Всю дорогу домой она была серьёзной и сосредоточенной. Крепко держала Мишку за руку. Насторожённо оглядывалась по сторонам, не преследует ли их Лёвка. И только около овощного киоска успокоилась, на секунду отпустила внука, чтобы вынуть деньги из кошелька и купить яблоки.

В ту самую секунду, когда бабушка отвернулась, перед Мишкой возник Лёвка, размахивая перед собой учебником по арифметике.

Мишка смиренно сложил руки по швам и совсем не сопротивлялся. Лёвка замахнулся.

И тут откуда-то появился солнечный зайчик и прыгнул Лёвке прямо в глаза. Лёвка заморгал от неожиданности, попятился назад. Солнечный зайчик всё наступал на него, наступал.

Мишка обернулся, чтобы поблагодарить своего спасителя. Но не успел, потому что солнечный зайчик скакнул и ему в лицо. Мишка зажмурился.

С точки зрения бабушки, только очень хорошая девочка могла совершить такой благородный поступок. Мишка покраснел и согласился. Две точки зрения наконец-то совпали.





Владимир Алеников

## ЗАГАДОЧНОЕ ЖЕНСКОЕ СЕРДЦЕ

**Х**отите смеяться, хотите нет. Мне всё равно. Потому что это всё от зависти. Ну, что мы с Петровым такие друзья. Нас никакой водой не разольёшь. Если говорят «Петров», значит, и Васечкин тут как тут, а говорят «Васечкин», значит, само собой, Петров тут же, рядом. Вот так-то. Нам все завидуют.

А Людка Яблочкина однажды вообще заявила: «Что-то,— говорит,— я, Васечкин, не понимаю, как это вы с Петровым дружите. Ты,— говорит,— такой маленький, юркий, пронырливый, вечно в буфете без очереди лезешь, а Петров, наоборот, такой большой, неторопливый и вежливый». А я ей: «Ты,— говорю,— Яблочкина, много чего в жизни ещё не понимаешь, не доросла,— говорю,— пока всё понимать». А она говорит: «Во-первых, Васечкин, я на полголовы выше тебя, а во-вторых, я очень даже всё понимаю. Ты,— говорит,— небось своего Петрова дуришь без конца, а он ничего и не замечает. Что,— говорит,— я не вижу, что ли, как он всё время твой ранец таскает».

Но тут уж я не выдержал, прямо вскипел. «Знаешь что,—говорю,—Яблочкина, ты в нашу мужскую дружбу не лезь, ясно? А то что Петров по два ранца сразу таскает, так он, может, тренируется, может, он на рекорд идёт, понятно?»

Так я ей отрезал, а тут как раз Петров подходит. Я говорю: «Скажи, Петров». Петров хоть и не слышал, о чём речь, но, молоток, не подкачал. «Это верно»,—говорит. Ну, Яблочкина надулась, развернулась и пошла. Я ей вслед кричу: «Что, Яблочкина, съела?» А она как будто и не слышит, только ходу прибавила.

Короче, вот такие дела. Мы с Петровым как Малыш и Карлсон. Только Петров не летает, потому что у него пропеллера нет. А так похож.

А Горошко ехидничает, что мы даже в Машку Старцеву вдвоём влюбились, чтобы никогда не расставаться. Ладно, ладно. Ехидничать всякий может. А сам небось за Людкой Яблочкиной бегаёт в одиночку и со скуки умирает. Потому что кто на неё, кроме него, посмотрит — она же рыжая. И вся, с ног до головы, в веснушках-конопушках. То ли дело Старцева...

Я, честно говоря, и сам не сразу-то заметил, какая она, Маша... А Петров, как выяснилось, сразу, ещё с первого класса, только он в себе всё держал, потому что стеснялся. И правильно, между прочим, у нас ведь раньше в классе с этим делом строго было. Чуть что заметят — засмеют, это точно.

Я повторяю: он хоть и сразу в Машу влюбился, можно сказать, с первого нашего первого сентября, но целых три года про это ни один человек не догадывался. Даже я, не говоря уже о самой Маше. А открылось всё вот как.

Дело, как сейчас помню, было в третьем классе, перед весенними каникулами. Машу как раз сандружинницей выбрали. Она тогда сама себе сумочку сшила с красным крестом и полумесяцем и стала её через плечо носить. И такая гордая была, прямо не подступись.

И ещё ко всем придирается начала: то ей не так, это не этак. Короче, сплошная нервотрёпка с самого утра. Потому что как только приходишь в школу, так сразу и начинается. Я уже и раньше вставать стал, чтобы первым в класс попасть, но всё напрасно. Прихожу — школу только открыли,— а Машка уже тут как тут, торчит у дверей класса. И сразу же: покажи руки, покажи шею, покажи уши, почему не причёсан, почему ногти не постриг и так далее. И так каждый день. Причём ко мне одному придирается. Хотите верьте, хотите нет, но никакого житья от неё не было!

А тут, смотрю, что-то и Петров раньше других в школу зачастил. Сначала я подумал, что из солидарности. Вот, думаю, что значит настоящий друг, а потом вижу, не в этом дело. Потому что в школу-то он приходит, а в класс не идёт, хотя всё у него в полном порядке, руки и уши всегда чистые, и Машка поэтому на него ноль внимания. А он, как ненормальный, придёт, встанет у окна и глаз с неё не сводит. Вот тут наконец я кое-что и заподозрил. Что-то тут не чисто, думаю. Решил понаблюдать.

День наблюдал, два наблюдал, а на третий понял: так и есть — влюбился Петров. Надо же! И в кого? В Машку. Чего он в ней нашёл? Она ведь отличница и придирается. Ну, думаю, если я заметил, то скоро и все заметят, и будет бедному Петрову тоскливо не только в классе, но и во всей школе. И тут мне его жалко стало, всё-таки лучший друг. Ну, и решил ему помочь.

«Чего ты,— говорю,— Петров, всё на неё смотришь? Чего в ней хорошего?» А он вздыхает как паровоз — вот-вот дым из него повалит. Мне его ещё жальче стало. «Ничего,— говорю,— не дрейфь, Петров, прорвёмся. Ты только не вздыхай так громко». А он ещё громче вздохнул и говорит: «Какая разница? Вздыхай не вздыхай, она на это всё равно никакого внимания не обращает!»

Что правда, то правда. У человека, может быть, в груди вулкан, а Старцевой всё до лампочки. А ещё сан-



дружинница называется! Ей по должности положено первую помощь оказывать. И такое зло меня взяло. За Петрова обидно.

А как ему помочь, не знаю. И от этого ещё больше злюсь. Так разозлился, что даже стал на Петрова кричать. «Ну чего ты,— кричу,— стоишь! Пошли в класс!» А он даже не шелохнулся. Стоит и глазами хлопает. Сколько его знаю, он всегда, когда думает, глазами хлопает. А так как думает он медленно, то и получается, что он почти всегда ими хлопает.

В общем, постоял он так, похлопал-похлопал и говорит: «Нет, не пойду! Ты иди, а я ещё тут постою!» И опять на Машку уставился. «Ладно,— говорю,— стой. Может, чего выстоишь». Ну а сам в класс пошёл.

А Машка, конечно же, тут как тут. Прилипла ко мне. И руки ей покажи, и шею выверни, и ушами похлопай. «Нет ли там пыли?» — «Нету,— говорю,— с утра стряхивал!» И тут меня вдруг осенило. Как громом ударило. Я даже в класс прорываться перестал. Чего я там не видел! «Ладно,— говорю,— Старцева, пойду себя в порядок приводить». А сам напрямик к Петрову помчался.

Тот как стоял, так и стоит, куда смотрел, туда и смотрит. «Ладно,— говорю,— закругляйся. Сейчас она как миленькая на тебя внимание обратит!» А он говорит: «Не может этого быть!» — «Ещё как может! Ты,— говорю,— Петров, пойди вымажись как следует, чтоб был грязный-прегрязный! Она к тебе так пристанет — не отвяжешься... На что спорим?»

Гляжу, оживился Петров. Не сразу, конечно, но всё-таки начинает моя идея до него доходить. Глазами больше не хлопает, нос поднял, и рот до ушей. «А что вымазать?» — спрашивает. «Естественно, уши,— говорю,— чтоб сразу заметно было!» Вижу, колеблется Петров. «А может, лучше руки?» — спрашивает. «Ну, как знаешь,— говорю,— дело твоё, я пошёл», — и с разбегу лечу в класс.

Промчался мимо Машки, как истребитель. Ну, она,

конечно, такого номера не ожидала, так и застыла с открытым ртом. А когда пришла в себя, то и говорит: «Ну и хулиган же ты, Васечкин!» Ладно-ладно, думаю, пусть чего хочет говорит, а я уже в классе. Теперь меня отсюда ни за что не вытащишь! В общем, сел я на своё место и жду, что дальше будет. Может, и в самом деле Машка к Петрову так придирааться начнёт, что про меня и вовсе забудет. Лишь бы он посильнее вымазался.

Вдруг вижу, Петров идёт. Как на казнь. Голова поднята, а в глазах такое выражение, как будто его к доске вызвали. Даже ещё хуже. Подошёл он и встал. Стоит и на Машку не смотрит. Та говорит: «Ты чего, Петров, встал? Проходи давай, проход не загораживай, у тебя руки всё равно всегда чистые! И уши! И шея! Можешь не показывать!» А он стоит чуть не плачет и на меня смотрит. Жалостливо так. А чего я могу поделывать? Я же его предупреждал, чтобы уши пачкал, сразу бы в глаза бросилось, а так... Что тут можно поделывать, если Петров такой невезучий!

Короче, подошёл он ко мне, сел рядом, лицо в ладони уткнул и сопит. Ну как его утетишь? Повздыхал он, повздыхал и полез в портфель за учебником, а руки при этом от лица убрал. Смотрю я: что такое? У него на лице какие-то буковки отпечатались, во всю щёку. Только я их прочитать не могу, так как они задом наперёд отпечатались. Вот, думаю, теперь бы он Машке на глаза попался. Да где уж там, она в его сторону даже не смотрит. Одно слово — невезучий.

А Петров тем временем, ничего не подозревая, опять руками за лицо хватается, и на нём эти буквы снова и снова отпечатываются. Уже в три ряда. Тут я, конечно, не выдержал и захохотал. А он нахмурился и спрашивает: «Чего ржёшь? А ещё друг называешься!» А я смеюсь, остановиться не могу. Тут он совсем обиделся и говорит: «Раз ты так, Васечкин, то я с тобой больше не дружу! Можешь от меня пересесть куда хочешь! Мне только легче будет. А то вечно придумы-

ваешь всякое, а я расхлёбывай. И вообще у тебя руки грязные. И уши! И шея!»

Ну, такого я, честно говоря, от него не ожидал. Тоже мне друг — сразу обзывать. «А ты,— говорю,— на себя посмотри». А он: «Это ещё зачем? Что я, себя не видел?» — «Нет,— говорю,— ты всё-таки посмотри!» А сам его к зеркалу тяну. Он упирается, конечно, но я всё равно не отстаю.

В общем, кое-как дотащил, хоть он и здоровей меня раза в два. «Гляди,— говорю,— любуйся!» Глянул он в зеркало и остолбенел. Стоит и глазами хлопает. Тут и я тоже в зеркало глянул. И вдруг вижу, что в зеркале все буквы на петровской щеке на свои места встали. Ну, я и прочёл. И не только я, а все, кто рядом был: и Герка, и Витька Сидоров, и Горошко, и Яблочкина, и Маша...

А написано там было: «Я ТИБЯ ЛЮБЛЮ!»

Ну вот, никто тогда, конечно, ничего не понял, а я догадался: это Петров, вместо того чтобы уши вымазать, на руках у себя написал. Решил, наверное, что Маша, когда будет проверять их, прочтёт и всё поймёт...

А она тут как тут, легка на помине. «Что это,— говорит,— Петров, ты себе на лице написал? А ну, марш умываться! Вот уж действительно,— говорит,— с кем поведёшься, от того и наберёшься! Я ведь знаю, что это Васечкин на тебя плохо влияет!»

Ну вот, чуть что, сразу Васечкин. Думал, хоть сейчас она от меня отстанет, так нет. Про Петрова тут же забыла и снова ко мне привязалась: что это в последний раз, что она вопрос поднимет на совете отряда, что с неряхами надо бороться и что я дурное влияние на бедного Петрова оказываю.

А он и впрямь, бедный, стоит и глазами хлопает. Стоял, стоял, а потом плюнул. Прямо себе на ладонь. А другой ладонью начал слова с руки стирать. Не просто трёт, а я бы даже сказал — с остервенением! А потом и лицо стал тереть. Но только пасту по всему лицу размазал. Ну, тут я, само собой, не выдержал и



захохотал, а за мною уже все остальные. Все, кроме Петрова, конечно. И ещё Маша. Она посмотрела на меня, будто первый раз видит, и говорит: «И не стыдно? А ещё друзья называетесь. У друга, можно сказать, беда, а ты самый первый смеёшься!»

Подумаешь! Что она, спрашивается, в нашей дружбе понимает?!

Только Петров на меня тогда сильно обиделся. После этого долго со мной не разговаривал. Почти целый урок. Я уже и так к нему и этак, а он ни в какую. Потом меня к доске вызвали, а я, как назло, ни в зуб ногой! Петров не выдержал и давай мне подсказывать. Лучше бы он и дальше молчал. Потому что он мне такого наподсказывал, что Инна Андреевна мне сразу двойку вкатила, а заодно и Петрову. Чтобы никому не обидно было. В общем, сел я на место, Петров на меня прямо волком смотрит.

«Знаешь,— говорит,— мне это надоело! Ты,— говорит,— Васечкин, всегда кашу заварить, а я расхлёбываю!» Так возмущается, будто мне пятёрку поставили.

Ну, как бы там ни было, а мы помирились. Потому что у нас всегда так. Как бы ни ссорились, а всё равно потом помиримся.

Только помириться-то помирились, а настроения всё равно никакого нет. Во-первых, двойки, а во-вторых, Петров опять затянул: мол, жизнь не удалась, Маша с ним никогда дружить не будет, ну и тому подобное.

В общем, надоел он мне своим нытьём до смерти, и я тогда говорю: «Спорим,— говорю,— Петров, что я сейчас за пять минут придумаю, как Маше понравиться».

Петров на меня посмотрел, как будто первый раз увидел, и вдруг так, знаете, слабо улыбнулся, будто ему уж прямо такую глупость сморозили, что дальше некуда. «Ты,— говорит,— Маше? Понравишься? Да никогда в жизни!»

Уж это меня прямо за живое взяло. «Ну, спорим,— говорю,— спорим?» — «Спорим»,— говорит Петров. «На



что?» — спрашиваю. «Ясно на что — на американку». На три желания то есть.

Так мы и поспорили. Руки друг другу пожали, а тут как раз Горошко подвернулся. «Горошко, — говорим, — разбей!» Горошке жалко, что ли? «Спорите? — говорит. — Молодцы!» Ну и разбил.

А я тут же усиленно думать стал: что делать, чтобы Маше понравиться? В конце концов придумал.

Значит, так. Допустим, идёт Маша из школы. Вдруг ей дорогу преграждают хулиганы. Человек пять или шесть, а может, даже восемь. Все здоровенные, как Петров, или даже ещё здоровенней. Загораживают они, значит, ей дорогу и домой не пропускают. Маша, ясное дело, вся от страха бледная, слёзы катятся. И вот тут-то, откуда ни возмись, появляюсь я! Не спеша подхожу к ним, можно даже вразвалку, так даже шикарнее. Руки в карманах. Потом медленно всех оглядываю и так лениво, сквозь зубы говорю: «Надеюсь, парни, это вы так шутите?» А один из них, самый здоровый, спрашивает: «А это ещё кто такой?» А я всё также спокойно: «По-хорошему советую — пропустите её!» А он уже нервно: «Давно не получал, пацан? А ну дуй отсюда, пока цел!» А я ещё спокойнее: «Я удалюсь только в сопровождении вот этой мадемуазель!» — и делаю такой изящный жест в Машину сторону. Она стоит ни жива ни мертва и на меня во все глаза смотрит.

Ну, тут, конечно, кто-нибудь из этих хулиганов на меня замахнётся, я ловко увернусь и специальным приёмом самбо брошу его через себя, причём он останется лежать. Тут на меня, естественно, ещё один бросится, а его я специальным приёмом дзюдо уложу, тогда бросится третий, и я ему проведу специальный приём каратэ — «урамаваши в голову» называется — и как закричу: «Яйя!» После этого они, конечно, всем скопом на меня навалятся, и мне поначалу очень трудно придётся, но в конце концов я соберу все свои силы и разбросаю их во все стороны!

Представляете? Они все лежат, а я стою, слегка покачиваясь, можно сказать, из последних сил, но на разбитых губах у меня улыбка. Тут Маша, ясное дело, бросается ко мне и говорит: «Спасибо тебе, Васечкин. Я и не подозревала, что ты такой. Тебе не больно?» А я покачнусь, но устою и так небрежно скажу, сжав зубы и преодолевая боль: «Пустяки! До свадьбы заживёт!» — и снова покачнусь. Тут она подставит своё плечо и обнимет меня за талию. «Пойдём,— скажет,— Васечкин, я помогу тебе дойти до дома». И так мы с ней и пойдём: она — бережно меня поддерживая, а я — слегка прихрамывая...

Здорово? По-моему, классно придумано. Главное, всё очень просто и полная гарантия успеха. Только где этих самых хулиганов раздобыть? Думал я, думал и, как назло, ничего придумать не мог. Ну наконец не выдержал и рассказал всё Петрову. Петров, понятное дело, даже обалдел слегка от всей этой картины. «Здорово,— говорит.— Ну и голова же,— говорит,— у тебя, Васечкин! Мне бы такого ни за что не придумать. Давай вместе,— говорит,— караулить, когда на Машу хулиганы нападут. Мы тогда с тобой вдвоём как выскочим!..»

Ну вот, рассказывал ему, рассказывал, объяснял, объяснял, а он так ничего и не понял. «Это,— говорю,— сколько ждать придётся, чтобы на Старцеву хулиганы напали?! А вдруг они вообще на неё никогда не нападут? Чего им на неё, в самом деле, нападать?» — «А как же,— спрашивает Петров,— что-то я тут не понимаю? Откуда же тогда хулиганы возьмутся?» — «В том-то и дело,— говорю,— с бухты-барахты они ниоткуда не возьмутся. С ними договориться надо». — «С хулиганами? — удивляется Петров.— Как это с ними договариваться? С ними бороться надо!»

Ох, горе моё! Доходит до него как до жирафа! Семь потов с тебя сойдёт, пока ему объяснишь!

«Понимаешь, балда,— говорю я терпеливо,— хулиганы нужны не настоящие, а понарошку. Я буду знать,

что они не хулиганы, а Маша нет! Понял? Вижу, не понял. Вот, например,— говорю,— ты хулиган!» — «Какой же я хулиган?» — возмущается Петров. «Понарошечный! — ору я.— И вот ты понарошку на Машу нападаешь, только она думает, что взаправду. И пугается. А тут появляюсь я и понарошку тебя швыряю специальным самбистским приёмом. А она думает, что взаправду, и говорит: «Какой ты герой, Васечкин!» Понял?» — «А! — обрадовался Петров.— Тогда другое дело. Только я не понял, кто хулиганами-то будет?» — «Ты,— говорю,— и будешь. И ещё другие!» — «Ну уж нет,— заупрямился Петров.— Я ни за что не буду». — «Эх ты, а ещё друг,— говорю,— в таком пустяке помочь не можешь! Знаешь, как во время войны,— нажимаю я на него,— друзья друг за друга на смерть шли?»

Смотрю, Петров уже поддаётся, но ещё пока сопротивляется.

«Сейчас же не война,— говорит.— При чём тут это?» — «Вот именно,— говорю,— что не война. Если в мирное время на друга положиться нельзя, то чего от него во время войны ждать!»

В общем, пристыдил я его как следует, ну и Петров сдался. «Ладно,— говорит,— помогу. А где же,— спрашивает,— остальных хулиганов возьмёшь?» — «Не твоя забота,— говорю.— Готовься!»

Всю большую перемену я по этажам бегал и ещё шестерых насобирав из других классов. Пообещал каждому по две порции мороженого. Впрочем, особенно долго их уговаривать не пришлось. Сразу всё поняли, с первого раза.

А на следующей перемене мы генеральную репетицию провели. Как они Машу окружают, как я появляюсь. Текст они довольно быстро выучили. А в конце я так мужественно произнёс свои последние слова: «Пустяки! До свадьбы заживёт!» — что мне даже все зааплодировали.

Короче, к концу уроков всё было готово. Так что

когда Маша из школы вышла, все уже стояли на своих местах и ждали. Только она пошла обычной дорогой, через сквер, как они её и окружили. Она, конечно, как я и думал, испугалась, ну, тут я и подоспел.

А дальше всё пошло как по маслу. «Надеюсь,—говорю,—парни, это вы так шутите?» А у самого руки в карманах и вид самый ковбойский. Ну, тут Генка из шестого «А», как и договаривались, говорит: «А это ещё кто такой?» Тут я так небрежно, сквозь зубы: «По-хорошему советую — пропустите ее!» Здорово вышло, даже самому понравилось. Ну и Генка не подкачал. Сплюнул под ноги, как настоящий хулиган, и ответил мне самым хулиганским образом: «Давно не получал, пацан? А ну, дуй отсюда, пока цел!»

Я ему сам чуть не заплодировал. Но сдержался и продолжаю как ни в чём не бывало: «Я удалюсь только в сопровождении вот этой мадемуазель!» И этак небрежно на Машку показываю. А она стоит ни жива ни мертва, на меня во все глаза смотрит.

И Петров тут же глазами хлопает. Всё на Машу пялится, оторваться не может. Ну, я его в бок толкнул, чтоб очнулся, подмигнул незаметно и, как договаривались, самбистским специальным приёмом его будто бы как жажну, а потом дзюдоистским, а потом каратистским и «Яйя!» закричал так здорово, что от меня все даже шарахнулись. Одним словом, всё как по нотам: все врассыпную, а Петров лежит как убитый. Он, конечно, сам упал, я до него даже не дотронулся. Молодец!

Ну, я ему опять незаметненько подмигнул... Петров мне в ответ тоже мигает. А потом как начал стонать! А я стою как настоящий герой — скромно, ничем не выделяясь. Порядок, думаю, сейчас Машка меня благодарить начнёт...

А она подошла ко мне, посмотрела своими глазами, будто съесть меня собралась, и вдруг говорит: «Ну и хулиган же ты, Васечкин!» Потом бросается к Петрову!

Первую помощь ему оказывает, поднимает его и всё при этом приговаривает: «Тебе не больно, Петров?»

И тут этот нахал что, вы думаете, сделал? Он вдруг так мужественно скрипнул зубами, ну в точности как я, когда репетировал, и, с трудом улыбнувшись, произнёс: «Пустяки! До свадьбы заживёт!»

Машка ему своё плечо подставила, а он на него опёрся. А она ему таким, знаете, ласковым голосом говорит: «Пойдём, Петров, я тебе помогу до дома дойти».

И пошли: она его так бережно поддерживает, а он слегка прихрамывает...

А я стоял, смотрел им вслед и думал, что прав был мой папа: женское сердце — это загадка. Это, между прочим, любимая папина поговорка.

Вот так всё и было. Хотите верьте, хотите нет, дело ваше.

А на Петрова я тогда сильно обиделся. Мы с ним даже поссорились пѐтом. Надолго. Наверное, целый день не разговаривали. А потом снова начали. Соскучились. Всѣ-таки целых шесть уроков молчали. И пять перемен. А потом, ясное дело, не выдержали. Потому что у нас всегда так: как бы ни ссорились, а всё равно потом миримся. Мы ведь друзья. У нас с ним как в песне: тебе половина и мне половина. Всѣ поровну. Так что дальше пусть Петров рассказывает. Чтобы никому не обидно.





## Михаил Бартенев

### ТРЕЩИНА

**С**тены чужие. Обои красивые, ничего не скажешь, а всё равно чужие. На той квартире обои, конечно, были похуже. Зато по ним текли трещинки-реки. Реки впадали в бурые разводы морей, образовавшиеся в результате наводнения наверху у Марии Михайловны. Вокруг морей вспучивались горы того же происхождения.

А на этой квартире ни рек, ни морей, ни гор. И лепных цветов на потолке в том месте, откуда спускается люстра, тоже нет. Потолок чистый, гладкий и скучный.

Чужой потолок.

Для того чтобы стать одиноким, совсем не обязательно переезжать на необитаемый остров. Достаточно переехать на новую квартиру. В новый район. На новую улицу.

На новой улице новые ребята. А новые ребята, сами знаете... Это ведь они только для тебя новые. А для них-то как раз ты — новый. Новенький.

Чужой.

И скоро ли станешь своим — неизвестно. Тут время нужно. Ведь когда ещё появятся трещинки на обоях. А лепнина на потолке и вовсе не появится. Никогда.

Обидно, что не можешь радоваться новой квартире так же, как мама и дедушка. Папа тоже пишет, что радуется. Один ты, выходит, не радуешься.

Мама шёпотом говорит деду, что с тобой что-то происходит. Что ты замкнулся, ни с кем не дружишь. Что на улицу тебя на аркане не вытащишь. Можно подумать, стоит только выйти на улицу, как сразу начнёшь дружить! Вот синяк заработать — это пожалуйста.

Дед говорит, что надо тебе собаку купить.

Мама от одной мысли об этом приходит в ужас. Но деда она уважает. О том, как много значат для неё слова деда, говорит хотя бы то, что дня через три она приносит домой черепаху.

Слушайте! Да что же это такое за животное за домашнее — черепаха?! Всё-таки, что ни говорите, а домашнее животное — я не коз и баранов имею в виду, а тех, что в доме, в квартире живут, — так вот, домашнее животное должно быть прежде всего другом человека. В этом его главное предназначение. А какой из черепахи друг? Ну, вот скажите, только честно, ну кому из вас, глядя на этот камень с ногами и головой, захочется сказать: «Иди ко мне, моя умница, красавица моя...» Или ещё что-нибудь в этом роде? Вот и я думаю, мало среди нас таких найдётся. Нет, не наших широт это животное.

Чужое.

Черепаха, видимо, не просто с других широт. Она с другого полушария. Режим дня у неё — полная противоположность нашему. Спит она днём. Где попало, как правило, на самом ходу. Однажды ты замечаешь украдкой, что мама еле-еле удержалась, чтобы не пнуть черепаху ногой. Ты убегаешь к себе в комнату. Тебе стыдно. За себя, что подсмотрел, и за маму, что у неё возникло такое желание. Неужели тебе жалко черепаху?

Иногда, когда ты видишь её неподвижную, самому вдруг хочется расколоть панцирь, как грецкий орех, и посмотреть, что же там внутри. Где там друг человека.

По ночам черепаха оживает. Сперва она ест из миски капусту. А поев, приступает к тому, что является главным её делом на этом свете. Вернее, в этой квартире. Она начинает с разбегу биться о стену. Минут пять она отходит от стены. Минуты три разбегаются. Бац! — удар. Пять минут назад. Разбег. Бац. И так всю ночь. Раз в восемь минут — бац!

Дед пытался загородить стену в этом месте чем-нибудь мягким. Как бы не так! Черепаха переходит в другое место и там продолжает ломиться в стену.

В чужую стену.

Ну, кому это в голову пришло, ловить где-то далеко-далеко черепаху, тащить её в Москву и продавать в магазине. Я б такого никогда не стал делать. И не столько даже из жалости к черепахе, сколько из простого соображения: да кто ж её там купит? А вот ведь нашлись желающие!

Наступает лето. Ничего хорошего. А что ж хорошего, когда только и слышишь: «Посмотри, какая погода, а ты дома торчишь!»

А ты дома торчишь. А черепаха на балконе. Она акклиматизировалась. Спит теперь по ночам, а днём бьётся в ограждение балкона. Раз в пять минут — на балконе разбег короче.

Дед вплёл в ограждение балкона картонную полосу, чтобы черепаха не вылетела. Но она вылетела. Добилась своего.

Ты возвращаешься с мамой из кино. Ты совершенно спокойно идёшь по двору (как же это редко случается!), и вдруг крик, вроде даже не ехидный. «Ваша черепаха вылетела. Треснула. В подъезде лежит!»

Крик был не ехидный. Сейчас это уже с уверенностью можно сказать. А тогда просто так показалось.

Ты врываешься в подъезд, забыв даже придержать

дверь, чтобы она не хлопнула. Следом вбегает мама. И вы оба со страхом смотрите на трещину, которая от головы до хвоста рассекла сверху черепаший панцирь. Снизу панцирь цел. Черепаха перевернулась, пока летела.

Ты осторожно берёшь черепаху в руки, кладёшь на ладонь. Трещина чуть-чуть расходится. Наконец ты можешь увидеть, что там внутри. Там что-то нежное, мягкое, живое и очень беззащитное. Так не похожее на грубые ноги и голову, которые черепаха не прячет сейчас, как обычно при твоём прикосновении. Наверно, ей очень больно.

— А может быть, ей не больно? — с надеждой говоришь ты дома.

— Ну да, не больно, — говорит дед. — Черепаха — как человек. Только у человека кости внутри, мясо снаружи. А у черепахи наоборот.

Черепаха два дня лежит без движения. Ты предлагаешь вызвать ветеринара. Мама — ни в какую. У мамы, когда тебя ещё не было, был кот. Кот заболел. Приехал ветеринар и усыпил кота.

Ветеринара — ни за что!

Как мы беспомощны, когда не можем помочь! «Помогите нам помочь! — кричим. — Посоветуйте что-нибудь!» И находятся такие, что советуют. Люди любят советовать. И умеют.

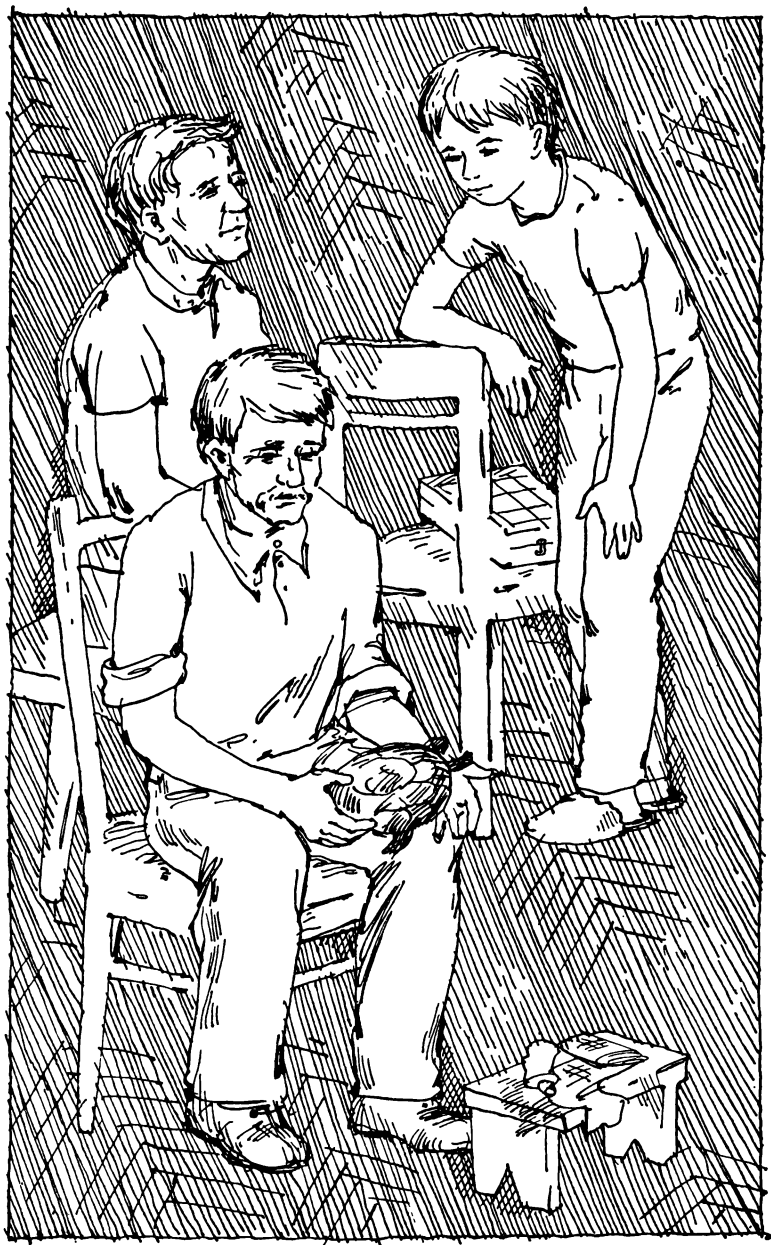
К деду ходит дядя Геня играть в шахматы. Он долго смотрит на черепаху без особого интереса.

— Взять бээфом да и склеить, — говорит он.

Мама возмущена. Как же можно, это же химия!

— Бээфом правильно, — говорит дед. — Гениальная идея. Бээфом раны заклеивают.

Мама несёт с кухни клей. С дедом не спорят. Заклеивает дядя Геня. Строго по инструкции: «Нанести на склеиваемые поверхности тонкий слой клея. Дать просохнуть. Нанести клей вторично. Плотно сжать поверхности до полного затвердения...»





Дядя Геня сжимает поверхности, и ты заматываешь черепашу бинтом, в котором ей теперь жить до полного затвердения.

Через два дня утром ты видишь, что черепаха спрятала ноги и голову в панцирь.

Мама ставит перед ней миску с листьями одуванчика. Ласково смотрит на перебинтованный камешек.

— Поправляется,— говорит мама.— Выздоровливает лапочка наша!

Черепаха уже ходит по квартире. Балкон заделан толстой фанерой. Но черепаха не бьётся пока об неё. Может быть, она больше вообще не будет биться?

— Звонок в дверь. Это тебя,— говорит мама.

— Меня?

К тебе никто ещё на этой квартире не приходил.

В коридоре стоят два мальчика. Ты их знаешь. Синяки—это их работа. Не только их, но и их тоже.

— Слушай,— говорит один из них,— а правда, что вы черепашу бээфом склеили?

— Правда.

— Покажь, а!

## КТО ОБЕДАЕТ НА КРЫШЕ?

**С**тарший лифтёр Мухин содержал своё хозяйство в образцовом порядке. А поэтому фотография Мухина висела внизу при входе на доске «Лучшие люди учреждения».

А хозяйством Мухина был не только лифт, но ещё и машинное отделение на самой крыше. Рядом с машинным отделением была дверь, которая вела на крышу.

На этой двери висела табличка «Посторонним вход воспрещён». Ключ от двери всегда находился у Мухина, и он его никому не давал. И так уж случилось, что крыша тоже стала мухинским хозяйством. И её он тоже содержал в образцовом порядке. Он каждый день осматривал её, летом подметал, а зимой счищал с неё снег. А главное, он следил, чтобы никто посторонний на крышу не выходил. Во-первых, потому, что на крыше антенны. Во-вторых, потому, что двадцать этажей — это не фунт изюма. А в-третьих, потому, что не положено! Каждый год поэтому Мухин получал на складе красную краску и обновлял буквы на табличке: «Посторонним вход воспрещён». А поскольку делал он это уже пятнадцать лет подряд, то буквы на табличке стали такими толстыми, что в один прекрасный день некоторые из них взяли и отвалились. Так что день оказался вовсе не прекрасным.

Мухин очень огорчился. Пошёл на склад, а там, как назло, красной краски не оказалось.

«Как назло!» — подумал Мухин и огорчился ещё сильнее. Разве это дело, чтобы такая табличка на двери висела: «ост ро ним хо сп ещё »!

Очень огорчённый Мухин открыл ключом дверь и вышел на крышу, чтобы произвести осмотр, и вдруг видит — батюшки! — на крыше, на самом видном месте, лежат три рваных пакета из-под молока и хлебные корки.

Ну что за денёк! Как эти посторонние предметы могли сюда попасть? Не с дождём же они выпали? Тем более что дождя уже пять дней как не было. На крышу вроде, кроме него, никто ходить не может! Вроде никто. А сам он тут вроде молока не пил и хлеба не ел! Вроде не ел. Даже совершенно точно не пил и не ел. Ничего не понятно!

«Может, директору доложить?» — подумал Мухин. А потом решил: «Нет. Рано директора тревожить. Сначала надо самому всё узнать».

И хотел он завтра этих безобразников, кто на крышу обедать ходит, подкараулить и живьём к директору доставить. Вот так!

Назавтра, поближе к обеду, Мухин устроил на крыше засаду: спрятался за угол машинного отделения и начал ждать. И только он начал ждать, как вдруг слышит шаги на лестнице, потом сопение, а потом кто-то как будто на крышу вылезает. Выглянул Мухин из-за угла — так и есть: человек на крыше!

— Ага! — закричал Мухин и как бросится на нарушителя, как повалит его, как прижмёт к крыше!

Нарушитель даже захрустел. А потом вдруг говорит:

— Вы зачем меня, товарищ Мухин, к крыше прижимаете?

Тут Мухин немножко поостыл и видит, что он молодого электрика Старухина прижимает.

— Так это, значит, ты? — тяжело дыша, спросил Мухин.

— Я, — тяжело дыша, ответил Старухин.

— Ты чего тут делаешь?

— Вас ищу. Всё учреждение обегал, с ног сбился. А вот нашёл вас — вы меня с ног сбили.

— А зачем это я тебе понадобился?

— Так вам премию выписали за хорошую работу, просили зайти получить.

— Ах, вон оно что... Тогда вставай, — сказал Мухин. А потом всё-таки для верности спросил: — Так это, значит, не ты?

— Нет, не я. А что «не я»?

— Да обедать на крышу не ты повадился?

— Нет, я в столовую повадился, — сказал Старухин, одёргивая пиджак.

— Вот это правильно, — сказал Мухин, одёргивая пиджак. — А то тут кто-то на крышу обедать повадился. Но ничего, от меня всё равно не уйдёшь!

— Это точно, — сказал Старухин. — Ну, я пошёл.

— Спасибо, что отыскал,— сказал Мухин.— Постой А как это ты на крышу сумел попасть?

— Так ведь дверь-то не заперта была!

— А-а. И то верно. Ну, иди!

Старухин убежал, а Мухин постоял немного, подумал и пошёл не спеша получать премию за хорошую работу.

Дверь он за собой запер, это точно. В этом можно даже не сомневаться, потому что, когда он после обеда вернулся на крышу, дверь отпер. Отпер дверь, вышел и — что вы думаете? — опять увидел пакеты и опять корки. Только теперь пакетов было не три, а два. Тут уж Мухин не на шутку испугался. Выходит, он опять нарушителей проворонил.

«Разве это хорошая работа? — подумал Мухин.— Нет, это плохая работа. Надо пойти премию вернуть. И директору доложить о происшествии».

И пошёл.

Но оказалось, что кассир, который премию выдавал, в банк уехал, а директор — к начальнику.

«Вот ведь день какой сегодня невезучий!» — в сердцах подумал Мухин.

Ну, а уж раз всё равно до завтра ждать, так он решил завтра ещё раз попробовать нарушителей поймать, а уж потом премию сдавать и директору докладывать.

На следующий день Мухин опять притаился за машинным отделением. И опять перед обедом. Долгое время всё было тихо. Так тихо, что Мухин чуть не уснул. Но вдруг он услышал шорох с другой стороны машинного отделения. Мухин стал осторожно-осторожно, тихо-тихо из-за угла выглядывать. И он увидел... Знаете, что он увидел? Двух ворон. Двух самых обыкновенных ворон, разгуливающих по крыше с пустыми молочными пакетами в клювах. А тут к ним прилетает ещё и третья ворона, поменьше, с горбушкой бородинского. Целое семейство, наверное. Пристроили они своё добро на крыше и давай рвать пакеты. Лапой насту-

пают, а клювом рвут. А когда разорвали, стали в остатки молока сухой хлеб крошить. Когда хлеб размок, вороны его склевали, остатки молока допили, отряхнулись и улетели.

Мухин засмеялся, собрал пакеты и подумал:

«Вот я, оказывается, кого проворонил-то. Хорошо ещё, что директору ничего не доложил. А главное, премию назад не вернул!»





## Владимир Волков

### СВЕТИТ МЕСЯЦ

**Я** сидел после ужина на своём крыльце, а мой друг Лёха — на своём. Их дом прямо перед нашим, через дорогу. Низко склонившись, он что-то тихонько наигрывал на балалайке.

Надо сказать, наша Третьяковка на редкость музыкальная. Играли все: и старики, и ребята. И на самых разных инструментах: на баяне и на гармошке, на балалайке и на мандолине. А школьный учитель Николай Иванович играл даже на скрипке.

Пожалуй, один только я ни на чём не умел играть. А я очень хотел научиться. И петь мне тоже хотелось. Но когда я запевал, мои младшие сестрёнки начинали хихикать, а бабушка выглядывала из-за печки и с удивлением смотрела на меня. Петь я перестал. Но мечта научиться играть на каком-нибудь инструменте не покидала меня...

Я встал и направился к своему другу.

— Лёх, а Лёх...

— Чего тебе?

— Научи меня играть на балалайке.

— А чо! Можно! Во гляди! — И он заиграл с особым старанием. — А теперь ты... — И передал балалайку мне.

Я повертел её в руках.

— А как играть-то?

— А очень просто!левой рукой зажимай струны, то одну, то другую, то повыше, то пониже, а правой — делай вот так.— И он быстро-быстро затряс у меня перед глазами кистью правой руки.— Понял?

Я кивнул.

— Начнём с самого простого.

Лёха задумался, задрал голову кверху.

— О! — обрадовался он. — «Светит месяц»!

Месяц как раз вывернул из-под залёгшей на ночь тучки и завис над деревней.

— Я буду петь и играть, а ты смотри и запоминай.

И Лёха под собственный аккомпанемент тонким голосом запел:

*Светит месяц, светит ясный,  
Светит полная луна...*

Ну как — запомнил? Тогда давай! Так... зажал средним пальцем? Молодец! А теперь — большим и сразу вниз. Ну... Да чего ты в неё вцепился! Я ж её у тебя не отнимаю. Свободней держи! Понял?

— Понял.

— Начнём сначала...

Я старался. Я зажимал струны и средним пальцем, и большим, и указательным, и всеми сразу... Я так старался, что ладошка у меня взмокла, но получалось всё то же — трень-брень, трень-брень...

Через полчаса наших занятий Лёха, потный и красный, кричал на меня:

— Ты чо? Нарочно? Нарочно, да? Вот как надо... — Лёха с ожесточением заиграл всё тот же «Светит месяц». — А ты что делаешь?

На шум в белой натальной рубаше вышел Лёхин дед Тимофей Петрович.

— Это чего-то вы тут расшумелись?

— Да вот Вовку игре обучаю, — пробурчал Лёха.

— Ишь ты — игре обучаю... А мне, грешным делом, показалось — дерётесь. С чего бы это, думаю, на ночь глядя... Ну, и как — получается?

— Я ему — средним, говорю, зажимай, а он вцепился в балалайку...

— «Средним зажимай»... — передразнил Тимофей Петрович Лёху. — Эх, ты! Ну-ка носи сюда мою мандолину!

Лёха быстро слетал за мандолиной. Дед ловко крутанул её на колене, пощипал за струны...

— Значит, так... Звук бывает высокий и низкий. Вот слышишь? — Тимофей Петрович пощипал струну. — Это — высокий, а это — низкий. По-научному «си» и «до»... Но это я кстати. Знать тебе это совсем не обязательно. Ты ухом струну почуй... Улови, как она под пальцем трепещет...

Дед сжался над мандолиной и тихо, нежно вывел:

*Светит месяц, светит ясный,  
Светит полная луна...*

Ну-ка, Лёшк, давай на пару! Чтоб понятнее было. Только ты, это... не забегай, как намердн, не высовывайся...

Неожиданно, в самый разгар наших занятий, в избе распахнулось окно и показалась бабушка Анисья.

— Это что ещё за ночное представление?

— Ты, это... не шуми! — важно заметил Тимофей Петрович. — Мы тут Володьку соседского игре обучаем.

— Чего-чего? Игре обучаете? — Бабушка Анисья, видно, была озадачена. Она подозрительно разглядывала нашу компанию. — И как же это вы его обучаете?

— Я ему, бабушк, говорю — средним зажимай, а он...

— Как надо, так и обучаем, — перебил Тимофей Петрович внука. — Ухом почует струну, и пойдёт игра.

Бабушка Анисья засмеялась, подозвала меня к окну:

— Ты, Володенька, погоди, я счас... только вот накину на себя.

Бабушка Анисья появилась на крыльце с гитарой. Это была знаменитая на всё село гитара, отделанная перламутром. Эту гитару, как любила рассказывать бабушка Анисья, дед Тимофей подарил ей «в четырнадцатом годе, аккурат, перед самой войной с германцем».

— Эх, вы... пальцем... ухом... Что вы парню голову морочите! Ты, Володенька, сперва посмотри кругом. Вишь, месяц... Ведь он не где-нибудь в небе завис, а прямо над нашей Третьяковкой... А вон пруд сияет, как блюдце чисто вымытое, а окна-то, окна в избах какие — синью так и полыхают! Вот, Володенька, когда ты всё это увидишь, вздохнёшь — господи, красота-то какая! — тогда и бери инструмент. И музыка — она сама польётся...

С этими словами бабушка Анисья взяла гитару. И гитара густыми, бархатными звуками выговорила:

*Светит месяц, светит ясный,  
Светит полная луна...*

Тимофей Петрович с Лёхой не выдержали и подхватили...

Я смотрел то на деда с внуком (сжавшись над инструментами, они самозабвенно работали руками), то на бабушку (она сидела, слегка откинувшись, и едва шевелила пальцами), то на Нинку и Кланьку, девчонок из крайнего дома, которые появились тут неизвестно когда, а сейчас лихо отплясывали перед крыльцом.

...Луна светила вовсю. Я уходил от Лёхиного дома. Нет, никогда не научиться мне играть на балалайке!

— Ну, что голову повесил? — вдруг услышал я голос нашего соседа Николая Ивановича, школьного учителя.

Он сидел, покуривая, на лавочке перед своим домом. Я остановился.

— Замечательно играют! Не правда ли? Особенно Анисья Семёновна! А ты... Ты не огорчайся. Я ведь слышал ваш урок музыки. Не каждому дано это... Но



что я хочу тебе сказать. Уметь слушать музыку, понимать её — это тоже, брат, радость великая! Знаешь... подожди минуточку.

И Николай Иванович поспешно загасил папиросу и скрылся в доме. Вернулся он, держа в руках футляр со своей скрипкой.

— Мы никому не помешаем, — смущённо зашептал он. — Уйдём за огороды. Я тебе такое сыграю, такое сыграю...

За огородами было свежо. Там гулял свободный луговой ветер. И вот когда Николай Иванович притронулся смычком к струнам, мне почудилось, что ветер откуда-то издалека, может от самых звёзд, принёс эти тонкие, пронзительные звуки... И ночь сразу стала другой. И я тоже...

— Ну как — понравилось?

Я молчал.

— Вижу, что понравилось. Ещё бы! Это ведь Моцарт!

Николай Иванович бережно уложил скрипку в футляр, и мы тропкой двинулись домой.

— Природа, мой друг, щедра. Одного слухом гениальным наделит, другого — кистью волшебной, третьего — словом...

Учитель остановился и тихо прочитал:

*Выхожу один я на дорогу,  
Сквозь туман кремнистый путь блестит.  
Ночь тиха, пустыня внемлет богу,  
И звезда с звездою говорит.*

Каково, а? Прямо про нас с тобой.

А когда мы были уже у нашего дома, Николай Иванович неожиданно подошёл к стоявшей у ветлы телеге, которую только что закончил мой дед, — она блестела в темноте, словно её намазали маслом, — погладил её по красиво изогнутому заднему бортику.

— А вот у твоего деда, Ивана Ивановича, золотые

руки. Что ни сделает — всем любуешься. Вот взять телеги его... Их ведь за версту от других отличишь... — И спросил по-учительски строго: — Тебе понятно, о чём я говорю?

Я кивнул. Хотя по-настоящему слова Николая Ивановича я понял много лет спустя.

## МОЙ ДРУГ, ПАРЯЩИЙ В ПОДНЕБЕСЬЕ

Теперь-то я понимаю — зря я его поймал. Не нужно было этого делать. Но тогда откуда я мог знать, что всё так кончится. Мне показалось, что у него повреждены крылья. Когда он убегал от меня, они волочились по земле. Я поймал его запросто. В два прыжка. Накрыл кепкой, и всё. Он потрепыхался немного и успокоился. Я сначала даже не знал, чей это птенец. Он был крупным, в серую крапинку, с красивой головкой. Клюв у него был резко загнут. А глаза — круглые, очень внимательные. И строгие. Они-то больше всего удивили меня. Я никогда не думал, что у птиц бывают такие строгие глаза.

Это был кобчик.

Поселил я его в сарае. Кормил из рук кусочками мяса и яйцом. Как только я появлялся в сарае, он вперевалку спешил ко мне. Чтоб ему было удобнее, я садился на пол, и он вспархивал на колени. Потом он стал взлетать выше. А однажды, когда я вошёл в сарай и позвал: «Тишка, Тишка!», он спустился ко мне на плечо откуда-то сверху. С тех пор моё левое плечо — именно левое! — стало его любимым местом. Лапки у Тишки были очень сильными, коготки — острыми, с загогулинами, и я, когда шёл его кормить, надевал пиджак.

Я очень долго не решался выйти с ним на улицу — вдруг улетит. Но не держать же его всю жизнь в сарае. А потом — мне очень хотелось показать его ребятам с нашей улицы. Ни у кого такой птицы никогда не было.

Больше всего мне хотелось показать его Витюне. Его старший брат Николай держал голубей. И Витюня страшно важничал, когда их голуби, кувыряясь в синевах, летали над нашим посёлком.

Мне не просто хотелось показать моего Тишку Витюне — а как бы это сказать... — ну, удивить, что ли, его: моя птица знает свой дом и никуда не хочет улетать!

Я перечитал все книги о птицах в нашей поселковой библиотеке. Меня, конечно, прежде всего интересовали орлы, ястребы, соколы. Ведь мой кобчик из этой породы. И я мечтал, что Тишка, так же как на картинках в одной книжке, будет сидеть на моём плече, по моей команде взлетать и, покружив в небе, возвращаться ко мне. Я заранее приготовил кусок кожи, вырезав его из старого ботинка, чтоб обшить им плечо.

К моей радости, Тишка оказался очень понятливым. И он вовсе не собирался от меня улетать. Когда я впервые вышел с ним из сарая, он долго сидел на моём плече. Мне даже показалось, что он испугался, потому что он ещё крепче вцепился когтями в пиджак. Видимо, он привык к полутьме сарая, а тут вдруг — солнце, простор! Я походил с ним по двору. А потом снял с плеча и слегка подбросил. У меня замерло сердце: вдруг взмахнёт крыльями и — поминай как звали. А он, дурачок, взлетел, сделал такой плавный поворот и — нырк в открытую дверь сарая. Я даже расстроился.

— Тишка, — говорю, — ты же не филин какой в потёмках сидеть. Ты же из соколиной породы! С вами ещё Иван Грозный на охоту выезжал...

Я с ним часто разговаривал на разные темы. Мне нравилось, как он внимательно слушал, даже иногда



закрывал глаза, как бы давая мне знать, что полностью согласен со мной. А когда я повышал голос, ругал кого-нибудь своего уличного неприятеля, кобчик тоже начинал волноваться, как гусь, наклонял голову и норовил вспорхнуть. Ах, какие крылья были у моего Тишки. Я иногда брал крыло и расправлял его как веер — какое оно было длинное и красивое!

Раз за разом мой Тишка смелел всё больше. Как-то он взлетел на берёзу, которая росла в нашем дворе. Я побежал к дому — Тишка сразу это увидел, соскользнул с ветки и сделал первый круг над нашим двором. Сделал круг и опустился мне на плечо. Вот тогда-то я и позвал Витюню. Я подбрасывал Тишку, он делал плавные круги и садился точно мне на плечо.

— Подумаешь! — сказал Витюня. — Захочу, вся стая мне на шею сядет!

— Так то — голуби! — возразил я. — А это — кобчик... из породы соколиных. С ними даже можно охотиться. Только натренировать надо. Хочешь дам книжку почитать?

— Нужны мне твои книжки... Подумаешь! А на кого ты охотиться собрался... Может, на голубей моих. Я вот Кольке скажу, кого ты тут завёл, он тебя... натренирует! — И, показав мне кулак, Витюня ушёл.

О моём Тишке вскоре узнали во всём посёлке. Я ходил гордый и важный.

По просьбе дедушки Ивана Никитовича, старого почтальона, который уже не работал, а почти целый день сидел на лавочке возле своего дома, я подбрасывал Тишку, и он уходил в небо.

Здрав голову, мы с дедом следили за его полётом, как, постепенно делая широкие круги, набирает он высоту.

— Всё, Вовк, я болей его не вижу, — говорил мне Иван Никитович, утирая заслезившиеся глаза.

— Да вон он! — кричал я, дёргая деда за рукав ватника. — Вон он!

Я кричал «вон он» до тех пор, пока и из моих глаз не исчезала чёрная точка в голубом небе.

Тогда мы садились с Иваном Никитовичем на скамейку, опускали головы — от долгого глядения вверх у нас болели шеи, — и начинался один и тот же разговор. Дед каждый раз уверял меня, что всё, не вернётся мой Тишка, а я горячился, убеждая деда, что этого быть не может, потому что мой Тишка не какой-нибудь бестолковый воробей, а птица из соколиной породы! А они преданы хозяину, как собаки.

— Ну, ты скажешь! — возражал мне Иван Никитович. — Собака — это друг человека!

— А мне Тишка — друг! — кричал я в запальчивости.

— Ну и где ж твой друг? — подзадоривал меня дед. — Ну-ка свистни: Тишка, подь сюда! Вот был бы у тебя пёс какой, давно бы уж прибёг и хвостом вилял. Ну свистни, свистни, — не унимался дед... — Всё... не видать тебе его — болей.

Я выбегал на середину улицы и, заложив два пальца в рот, свистел. Я даже приседал от напряжения, и свист получался пронзительно тонким — мне казалось, он иголкой вонзается в небо и укалывает моего Тишку.

— Гляди, спускается! — счастливо орал я, хватал деда за рукав и стаскивал его со скамейки.

— Ишь ты, вроде он...

Спускался Тишка не так, как поднимался — медленными кругами, он камнем летел вниз, нет, не летел, а просто падал и лишь возле самой земли, вспорхнув, выходил из «штопора», делал плавный разворот и откуда-то сбоку, обдав меня ветром, цепко схватывал моё плечо.

Вот в такие минуты мне однажды пришли в голову стихи.

Прижимая к груди Тишку, я кинулся домой, чтоб скорей записать их. Не было последней, завершающей строчки, но я не думал о ней, я твердил первые три, боясь, что они исчезнут так же внезапно, как и появи-

лись. Но когда, схватив первое, что попало под руку (это была раскрашенная контурная карта), я написал стихи, неожиданно для самого себя, и вывел и последнюю, четвёртую строчку, меня охватило какое-то ликование. Я схватил Тишку, который во время моего творческого порыва спокойно сидел на этажерке, и побежал с ним по огородной тропинке на луг. И там, подбросив Тишку, кричал ему с земли:

*Мой друг, парящий в поднебесье,  
Как хочется с тобою вместе  
Взглянуть на землю с высоты,  
На дом наш, маму, на цветы...*

Потом я долго лежал на траве, разбросав руки, как крылья, и смотрел на своего парящего друга.

О том, что Тишку подстерегает опасность, я впервые понял из разговора с Иваном Никитовичем.

Глядя куда-то в сторону, он сказал как-то, что, мол, Тишка у меня долго не проживёт. Ты знаешь, что все поселковые насадки из-за твоего Тишки с ума посходили. Мол, только тень его мелькнёт, а они уже ныряют кто куда, а ему ведь ничего не стоит спикировать на какую-нибудь раззаву...

— И что тогда? — вопрошал меня старик. — А ведь в каждом доме ружьё, а то и два... Уловил?

— Уловил... — отвечал я.

— Ну, раз так — принимай, как говорится, меры.

И старик как в воду глядел. Я, помню, сидел и читал, и вдруг, громыхнув чем-то в коридоре, в комнату вбегает наша соседка бабка Таня и с криком:

— Вон он где, этот умник! — Вытряхивает из фартука мне под ноги двух уже прилично подросших цыплят. — Ведь прямо в темечко бьёт, стервец! — кричала бабка Таня, тряся передо мной жилистыми кулаками. — Мать придёт, пусть взамен этих своих приносит!

Я смотрел на растормошённых, распушённых цыплят, и мне было их жалко. Но ещё жальче мне было

Тишку. До меня дошли, наконец, слова Ивана Никитовича. Ведь Тишке просто повезло, что он «спикировал» на бабки Таниных цыплят: она жила со своей одинокой дочерью и у них ружья никогда не было.

И я решил принять меры.

Я положил Тишку за пазуху и двинулся в дальний путь. Я даже еды с собой захватил: хлеба, огурцов и соль. Я решил отнести Тишку как можно дальше.

Я шёл сначала лугом и вспоминал, как кричал здесь Тишке свои стихи. Тишка ворочался у меня на животе, трепыхался. Я заглядывал туда, ловил его недоуменный взгляд: чего, мол, так долго держишь меня тут. Потом он уснул. Он любил спать у меня за пазухой.

Выпустил я его в лесу. Я специально выбрал полянку попросторнее, чтоб ему легче было набрать высоту. «Прощай, Тишка!» — хотел крикнуть я. Но не смог. В горле у меня перехватило. И я медленно побрёл назад.

Домой я пришёл к вечеру. Я так устал, что сел на ступеньку крыльца. И тут же... щёку знакомо обдуло ветерком, и в моё плечо вцепился Тишка.

Целую неделю мы с Иваном Никитовичем плели для Тишки клетку из ивовых прутьев. Клетка получилась большой. Внутри я просунул палку, чтоб Тишке было где сидеть.

Старик, правда, отговаривал меня от этой затеи — посадить Тишку в клетку.

— Он же у тебя к вольной жизни привык — зачахнет... Давай я отвезу его подальше, я как раз к сыну собираюсь в Михайловку.

Но мне показалось, что это нечестно! Он домой вернулся, а я снова его...

Я успокаивал себя, что каждый вечер буду уходить в луга и там выпускать его.

Я так и делал. Тишка, покружив в высоте, спускался точно мне на плечо, я засовывал его за пазуху и возвращался домой.

Но вот однажды Тишка, уйдя в небо, ко мне не вернулся. Я кричал ему, свистел. Но он куда-то пропал. Я не очень сильно расстроился, просто подумал, что он улетел домой. Но дома его не было.

Я не спал всю ночь. Всё думал, куда он мог подеваться. И вдруг словно у меня над ухом раздался выстрел, и следом — дуплетом — второй. Я вскочил в постели. Я вспомнил эти выстрелы. Я услышал их вчера вечером, когда звал Тишку, но тогда я не обратил на них внимания. Можно сказать даже, не услышал, а вот сейчас среди ночной тишины как будто выстрелили снова.

А утром, я ещё пил чай, в окно постучал Витюня. Я вышел.

— Пойдём! Я тебе кой-чего покажу...

Витюня шёл впереди и постоянно оглядывался. Я шёл, чувствуя, что меня ждёт недоброе.

— А ну, посмотри! — сказал Витюня, и в глазах его зажглись торжествующие огоньки. — Не твой?

Мы стояли у их огорода. Витюня услужливо распахнул калитку. Я сначала не понял, что там висело на шесте. А когда понял, закричал:

— Нет! Нет! Нет! — и вцепился в Витюню. Я бил его, царапал, кусал и всё кричал ему в лицо: — Нет! Нет! Нет!

Мама мне потом рассказывала, что у меня поднялась температура и я всю ночь бредил, а когда пришёл в себя, попросил её сходить к Витюне, чтоб они его сняли...

## У БАБУШКИ ДУНИ

**Б**абушка Дуня жила одна. В лесу. В трёх километрах от нашей деревни. Ей не раз предлагали перебраться в деревню, но она наотрез отказывалась. «А ягоды, а травки мои целебные — на кого я оставляю?» — обычно говорила она.

Однажды мама послала меня провести одинокую старушку.

Когда я пришёл, бабушка Дуня сидела на крыльце. Рядом с ней стояла корзинка с земляникой.

Бабушка поблагодарила за московские гостинцы и развела руками:

— А я вот, милоч, даже в дом тебя пригласить не могу. — Она оглянулась назад. — Ну, ты ещё долго над старухой будешь куражиться? Не видишь — гость у меня. Ему отдохнуть с дороги надобно, а ты норов свой дурной выказываешь.

Я с удивлением смотрел на бабушку Дуню, не понимая, кому это она делает выговор. И лишь после того, как она, кряхтя, поднялась и в сердцах дёрнула навесной замок на двери, я понял, что она ругает его, замок. И я чуть было не фыркнул от смеха.

— Бабушка, дайте мне ключ, я попробую открыть.

Я долго возился с замком. Ключ то легко проворачивался, тогда в замке тонко попискивало, то намертво застревал.

— И-и-и, не трудись, милоч. Если сам не захочет, ни за что не откроется. Сколь раз так бывало... Да ты садись, садись. Вот землянички покушай. Посидим, помолчим... может, он и одумается...

И я опять чуть было не рассмеялся, но сдержался и, сев рядом, вежливо спросил:

— Бабушка, как же вы здесь живёте одна?

— Одна... Это почему же одна? Совсем и не одна... Вот хоть этого привередника взять... — И она снова при-

нялась ругать замок: — Ну, ты долго ещё на ступеньках нас будешь держать. Ну, ладно, на меня осерчал, а вот он-то,— бабушка кивнула на меня,— он-то тут при чём? Я должна гостя чайком напоить, вареньицем попотчевать, а ты, негодник, чего вытворяешь? Ни стыда у тебя, ни совести! А я ведь к тебе со всей душой. Помнишь, бригадир новый замок привозил — хватит, говорит, мне с тобой мучиться. Так я от того, нового, отказалась! Отказалась иль нет? Тебя ведь оставила. А выходит — зря!

И тут в замке что-то громко щёлкнуло, ключ вывалился, дужка, скрипнув, откинулась, и замок упал на пол.

— Ну вот, милочка, я говорила — одумается. Вот и одумался.

Я во все глаза смотрел на упавший замок. И тут, признаться, мне было уже не до смеха. И я с некоторой робостью вошёл в избу.

В избе было чисто и просторно. Пахло какими-то травами. Они висели пучками на стене. Громко тикали большие часы. В футляре с резными завитушками. Я подошёл поближе и стал их разглядывать.

— Покойный батюшка на свадьбу подарил. И всё ходят. А вот часы отбивают, когда в настроении...

— Как это... когда в настроении?

— А очень просто. Вот у тебя, когда на душе тяжело — обидел ли кто иль сам кого обидел невзначай,— небось хмурый ходишь? А когда легко, весело — песни поёшь? Так?

— Так,— согласился я.

— Вот и они у меня такие же... Когда в настроении, отобьют, который час, а когда нет — промолчат или пробубнят что-то, вроде как бы про себя.

За этим разговором бабушка Дуня залила самовар, стоявший у печи, бросила в него сосновых шишек.

Самовар вскоре загудел и пустил тонкую струйку пара.

— Ну, вот и хорошо... чайку сейчас попьём, что у вас там нового, расскажешь... Ну-ка, налей сюда кипяточку.— И бабушка подала мне заварной чайник.

Я наклонился к самовару. Повернул краник. Краник поворачивался и туда, и сюда, а вода не шла.

— Не даёт? И не даст.— Бабушка довольно улыбнулась.— Тоже с характером! Это он на стол просится. Учужал, что я не одна, вот ему, стало быть, и хочется на столе покрасоваться. Вишь, какой он у меня форсистый. И с медалями, ровно герой какой!

Я помог бабушке поставить самовар на стол.

— И что... теперь можно наливать?

— Теперича — пожалуйста!

Я подставил чайник, повернул краник, и вода пошла.

«Надо же, чудеса какие-то,— подумал я.— То замок с капризами, то часы с настроением, то самовар...»

— Ну, как чаёк? Духовитый? Да ты с медком его, с медком. Иль вот с вареньицем. А то со свежей земляничкой. По мне, с ягодкой-то слаще всего.

Я выпил три чашки. И с мёдом, и с вареньем, и с земляничкой. И вдруг — то ли от запаха трав, то ли от тихого, убаюкивающего голоса бабушки Дуни, а вернее от всего этого вместе — у меня начали слипаться глаза. Я смотрел на бабушку Дуню, а мне казалось, что это моя родная бабушка и что я сижу в своём доме. Я смотрел на самовар, а тут вообще какая-то чертовщина началась: самовар кривился, раздувал, как щёки, то один бок, то другой, а то, скорчив мне рожицу, высунул длинный красный язык и из моего блюдца лизнул варенье... Я зевал, тёр глаза.

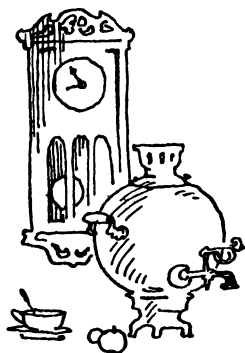
— Э-э-э, милоч, да тебя, никак, совсем разморило... С непривычки это. С лесного воздуха. Счас я тебя отдохнуть уложу.— Бабушка под руку вывела меня из-за стола, подвела к кровати.— Вот тут и приляг, и сосни чуток, а там, к вечерку, я тебя и домой провожу...



Я привалился к подушке. Или, наоборот, подушка навалилась на меня... Но тут — бом! бом! бом! — забили часы. Да так громко, торжественно, с каким-то перезвоном колокольчиков, что я очнулся.

— Тише вы! — услышал я шёпот бабушки. — Месяц, поди, молчали, а теперь колотить надумали. Не видите — малец у меня. Сморило его, а вы ишь разгромыхались!

И бой часов стал утихать, потом совсем пропал. Только колокольчики продолжали звенеть.



Жанна Давитьянц

## СКАЗОЧНЫЙ ГАЛОП, ИЛИ КАК СЕДЛАТЬ КУПЧИКА

**К**атя с Серёжей шли по конюшне, держа в руках хлысты и уздечки.

— У тебя кто? — спросил Серёжа.

— Купчик.

Серёжа как-то странно хмыкнул.

— В первый раз на нём поедешь? Ну-ну...

— Мне Сенька Пчёлкин посоветовал. Сказал, что у него галоп сказочный.

— Это да... Галоп — что надо! Как на диване!

— А что ты хмыкаешь? Сенька сказал, что я его ещё благодарить буду.

Тут Серёжа не выдержал и рассмеялся:

— Ты его больше слушай!

Он открыл дверь денника и разбудил Булата, который лежал у стенки, подогнув под себя длинные ноги. Это был трёхлетний вороной жеребец. Несмотря на свой детский возраст, огромный и сильный, с буйной чёлкой, спадающей на глаза. Конь увидел мальчика. Он сделал несколько раскачивающих движений телом и,

оттолкнувшись от пола, встал на ноги. Серёжа протянул ему большую, вкусно пахнущую арбузную корку, он принёс их целый пакет. Вздрагивая ноздрями, конь потянулся к лакомству. А когда съел корку, ткнул Серёжу мордой в плечо, прося добавки.

— Ладно-ладно, не жадничай,— поворчал Серёжа,— не всё сразу. Сначала работа.

Катя хотела войти в соседний денник, где стоял Купчик, но не успела она сделать и шага, как конь бросился на неё, дико оскалившись и прижав уши. Она вскрикнула от неожиданности, едва успев отскочить.

— Как собака бросается, только что не рычит.

Всё произошло так быстро, что Катя даже не успела испугаться, и только сердце у неё билось так часто, словно она догоняла автобус.

— Купчик! Купчик! — неуверенным голосом позвала девочка, протягивая на ладони сухарь.

Но конь стоял в деннике ровно по диагонали: головой — в угол и хвостом — к двери,— и не собирался поворачиваться.

— Серёж! — крикнула Катя.— Как его теперь развернуть? Он даже на еду не смотрит.

— Подожди, сейчас подпруги подтяну и помогу тебе,— отозвался Серёжа.— Я его быстренько усмирю.

Он вышел из денника и направился к воротам, отделявшим одну конюшню от другой. Там, в углу, стояла метла.

— Погоди у меня! Ишь моду взял — пугать всех!

С этими словами он изо всех сил врезал Купчику метлой по мягкому задку. Тот отреагировал моментально, отбив метлу задними копытами.

— Футболист! — засмеялся Серёжа и повторил всё сначала.

Но Купчик в долгу не оставался. После третьего покушения он гордо отвернулся и затих.

— Кажется, поумнел,— обрадовался Серёжа,— теперь пошли!

Он ободряюще подмигнул Кате и легонько подтолкнул её вперёд.

— А если он опять? — засомневалась девочка.

— Входи, не бойся! Он не укусит, пугает только.

Оглянувшись в последний раз, Катя нерешительно шагнула вперёд и... едва успела отскочить. Купчик взбрыкнул так, что всю её, с головы до ног, обдал вихрем свежих золотистых опилок. Катя вылетела пулей, впечатавшись в стенку напротив.

— Он сейчас доиграется! — твёрдым голосом сказал Серёжа и снова пошёл к воротам.

На этот раз он притащил мешалку для отрубей, похожую на весло. Купчик посмотрел невозмутимо, даже не удивившись, и снова отвернулся, мол: чихать я хотел на ваше весло!

— Ничего... ты нас просто недооцениваешь, — погрозили ему мешалкой Серёжа. Как бы примериваясь, он окинул взглядом нахального рыжего коня, низкорослого, с круглыми боками. — Карабахи все с характером — голыми руками не возьмёшь, — заметил он с видом знатока, — горная азербайджанская порода.

Они были взмокшие и разгорячённые, готовые к самым решительным действиям. Но ретивый карабах и на этот раз вышел победителем. Он снова подскочил, заржав на всю конюшню, и выбил оружие из рук мальчика.

— Долго это будет продолжаться? — взмолилась Катя.

Купчик с интересом обернулся: «Ну что — попробовал? Взял?»

Серёже даже показалось, что он усмехнулся при этом.

— Я пойду за конюхом, — сказала Катя, — не знаешь, кто сегодня дежурит?

— Новый парень, чудной какой-то. — Серёжа сморщил веснушчатый нос. — Жаль, что тёти Маши нет, её он слушается, как шёлковый.

Конюх пришёл недовольный. Это был худющий белобрысый паренёк, в широких штанах, состоящих из одних заплат, и мятой клетчатой рубашке.

— Ну, сиво вы здесь возитесь? Вся группа ездит давно! — с ходу набросился он на ребят.

Новый конюх шепелявил, и от этого возмущение его выглядело комично.

— А что мы можем сделать? — спросила Катя, едва сдерживая улыбку.

— Ладно. Ситяс сто-нибудь придумаем. — Парень строго позвал коня: — Купсик! Купсик! — но тот глубоко-мысленно устался в угол, не обращая на него никакого внимания.

Конюх сухо кашлянул и, почесав в затылке, пошёл за скамейкой, которая стояла у выхода в манеж. Скамейка была узкая и длинная. Он выразительно pokrutil её, давая возможность Купчику трезво оценить свои возможности:

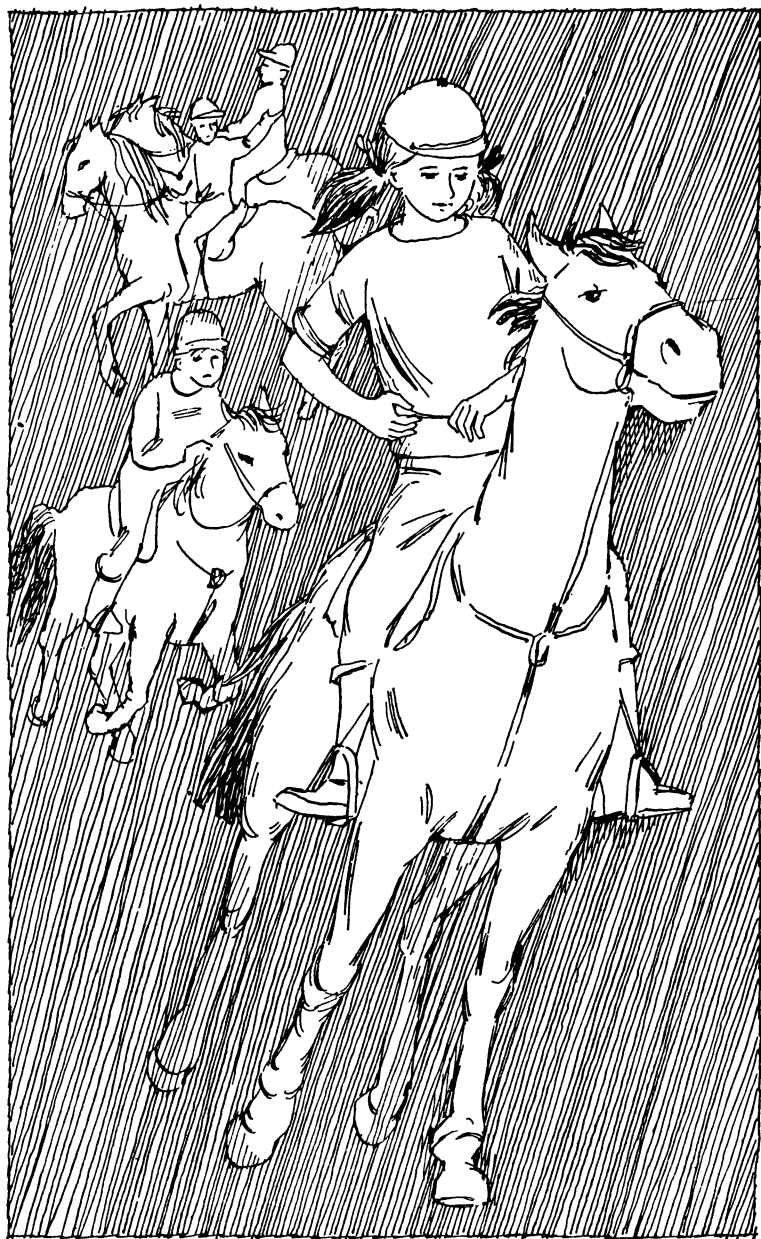
— Эй, Купец! Ты посмотри только, сто я тебе принёс! Нисего не залко для такого красавца!

Катя держала уздечку наготове. Конюх попёр со скамейкой на коня. Тот сначала немного растерялся и даже дал прижать себя к стене. Но как только повод оказался у него на шее, он резко вскинул голову и, вырвавшись, бросился на штурмующих. Скамейка упала, придавив конюху ногу. Он вскрикнул от боли и обозвал Купчика козлом. Вид у него был свирепый.

— Нет, надо звать тренера. Избаловал коня, пусть теперь сам с ним разбирается. Ладно бы один раз, а то ведь пости каздый день такие номера.

Булат стоял уже осёдланный и с любопытством наблюдал за ходом «военных действий». Время от времени он довольно фыркал, пытаясь просунуть нос между прутьями решётки.

— Нечего глазеть, — прикрикнул на него Серёжа, — а то ещё тоже научишься! Вы опыт друг у друга быстро перенимаете.



Отбив очередной штурм, Купчик встряхнул волнистой гривой, вздохнул и вроде бы даже заскучал. Так и казалось, что он сейчас засвистит.

Через пять минут конюх привёл тренера. Катя с Серёжей стояли в проходе, растрёпанные, все в пыли и опилках. При виде тренера, уверенно идущего к деннику, они облегчённо вздохнули.

— Кто дал тебе Купчика? — хмуро спросил тренер. — Детский сад.

— Я сама его попросила, — вдруг бойко ответила Катя, удивившись собственным словам. Глаза её сверкали.

Серёжа смотрел на неё, ничего не понимая: «Ох уж эти девчонки!»

— Ах, сама попросила?! — передразнил тренер, при этом оставаясь совершенно серьёзным. — Значит, должна сама с ним справиться. Попробуй найти к коню подход.

Катя не ожидала такого поворота, она надеялась на помощь, а получилось совсем иначе.

— Давай-давай, — подбодрил тренер, — смелее! Тебя же учили, как это делается. И главное — не показывай, что ты его боишься.

С этими словами он ушёл. Конюх хмыкнул и, как бы оправдываясь, пожал плечами:

— Вот так ребятки. Поняли, сто вам сказали? А мне и своих дел хватает.

Ребята переглянулись.

— Ты, случайно, не знаешь, почему он тётю Машу слушается? — спросила вдруг Катя.

— А она с ним разговаривает по душам, — рассеянно ответил Серёжа, — часами может говорить, Купчик это любит.

— Так чего же ты мне сразу не сказал?! — возмутилась Катя. — Значит, мы зря его лупили?

— Но ведь его же надо было проучить, чтобы впредь дурака не валял. Я хотел как лучше.

Катя сокрушённо покачала головой:

— Ладно, ты иди, и так из-за меня столько времени потерял. Я сама попробую.

— Если понадобится, позови.

Катя стояла в дверях денника и смотрела на Купчика.

«А ведь действительно,— подумала она,— когда наказывают, должно быть очень обидно, а от обиды всегда хочется сделать назло. Если я не слушаюсь родителей, они же не наказывают меня, а пытаются объяснить по-хорошему, разговаривают, как со взрослой. И у лошадей, наверно, бывают свои причуды или плохое настроение, только они сказать ничего не могут».

— Рыжий! — позвала она Купчика, — может, хватит упрямиться? Ну, повернись ко мне. На твой красивый хвост я уже насмотрелась, а вот глаза ещё как следует не разглядела. Ты ведь у меня умный, всё понимаешь. А то, что с характером, — это даже хорошо. Я ведь поэтому тебя и выбрала, что ты такой независимый, бесстрашный, такой вояка. Ну давай же! Будь молодцом!

Купчик поднял голову и, задумавшись, посмотрел в маленькое окошко, находящееся под самым потолком. За окном был пыльный плац, за ним — утонувшие в пуху тополя, дальше — спортивные конюшни, которые все здесь называли просто спортивками. Наконец, видимо придя к какой-то мысли, Купчик не торопясь развернулся и внимательно посмотрел на Катю.

— Ну, вот же! Какие у нас замечательные, умные глаза, — радостно воскликнула девочка. — А ты их столько времени прятал.

Она провела ладонью по белому, в рыжих крапинках носу коня, потом почесала ему шею под гривой. Купчику это было приятно, ведь сам он не мог почесать себе шею. Он схрумкал один за другим три больших сухаря, при этом не хватая их с жадностью, а беря с ладони аккуратно, с чувством собственного достоинства. От ласки и приятных слов он закрыл глаза,



свесил свои мягкие рыжие уши и млел, как кошка.

«Кажется, он простил меня,—подумала про себя Катя.—Теперь у нас с ним всё пойдёт по-другому».

— Ты будешь моим другом? Ведь правда?—спросила она.—Но только ты должен меня слушаться.

Купчик хлестанул себя по боку длинным золотистым хвостом, всем своим видом выражая готовность выполнить любую её команду.

Катя надела на него оголовье, потом сняла с кронштейна седло. Конь стоял не шелохнувшись. Она тщательно стряхнула с его спины все опилки, положила потник, а сверху—седло. Оставалось только подтянуть подпруги. Наконец всё было готово.

— Ну что, Рыжий,—сказала она бодро и уверенно,—вперёд?

Казалось, в манеже все только и ждали её появления. Смена уже закончилась, и ребята слезали с лошадей. Тут она увидела Сеньку Пчёлкина, который просто давился от смеха.

— Ну как галоп?!—крикнул он, нарочно погромче, чтобы все слышали.

— Сказочный!—так же громко ответила Катя и широко улыбнулась:—Я теперь всегда буду на нём ездить.

Тут она вздрогнула от того, что Купчик, который деловито стоял рядом, прихватил её за ухо, нежно-нежно, одними губами.



Марина Дерило

## АЛЁНКИНА УХА

— Алёнка, к нам бабушка приехала! — Соседская Наташа даже запыхалась. — Столько всего привезла!.. Пошли к нам!

Алёнка лепила с дедушкой рогульки. Вопросительно посмотрела на него.

— Беги, Олёнушка. Вишь, подруга зовёт...

Бабка Нюра раньше жила в соседней деревне — её видно, если выйти в поле за дом и встать на цыпочки. Правда, идти всё равно далеко и ноги устают. Алёнка была прошлым летом в гостях у бабки Нюры с Наташей. В деревне совсем тихо, домов мало, прямо на дороге растёт трава.

Бабка Нюра жила с дедушкой Егором в большом доме с высокими подсолнухами у крыльца. Наташин брат Саша почти каждый день ездил к ним на велосипеде — возил свежий хлеб. А в праздники соседи отправлялись в деревню всей семьёй. Тётя Люда пекла для стариков пироги и очень боялась, чтобы не подгорели, — старалась угодить бабке Нюре.

Бабка Нюра — суровая и величавая, как царица, — ходила через Излуки в городскую церковь и на обратном пути всегда заворачивала к дочери. Наташина мама — огромная, толстая, с высокой причёской на голове — торопливо, будто в чём-то провинилась, отчитывалась перед бабушкой Нюрой в делах и усаживала её за стол: «Выпейте хоть чайку, мама, на дорожку». А старуха, сурово глядя в чашку, распекала дочь: «Зря, Людмила, деньги транжиришь. Магнитофон Сашке купила — баловство, ломает скоро! Не давай часто играть. Пусть радио слушает!»

Алёнка с Наташей, хоть и живут по соседству — зимой только пруд перебежать, — бывают друг у дружки редко. Играть у Наташи неинтересно, тётя Люда так и следит: ни тебе фантики посмотреть, ни кукольную одежду сшить, ни в прятки поиграть. Сиди на стуле, и всё. В большой комнате вообще нельзя ни к чему близко подходить — ещё уронишь! А когда однажды Алёнка положила на гладкий блестящий стол свою ладошку, Наташина мама схватила тряпку и стала сердито вытирать пятнышки от пальцев: «Привыкла дедкины самоделки руками хватать! Вещей-то сроду хороших не видывала!» Алёнка тогда обиделась за дедушку — такого большого стола с резными толстыми ножками не было ни у кого во всех Излуках!

После этого Наташа не звала Алёнку в гости и сама не приходила. Когда Алёнка ловила в пруду тритонов, Наташа была на другой стороне и смотрела. Ей тоже хотелось перейти к Алёнке, но у окна стояла тётя Люда, и Наташа делала вид, что не замечает подружку. Потом у Наташи умер дедушка. Алёнка видела его раза два, и он ей не понравился; серые волосы торчали в разные стороны, нос блестящий и розовый, как кукла-голыш, глаза моргали часто-часто, а ресничек не было совсем. И голос какой-то с трещинкой. Алёна узнала, что у Наташи теперь будет только одна бабушка Нюра, а

дедушки Егора уже никогда не будет. Ей так хотелось увидеть Наташу, она старательно высматривала подружку и однажды увидела: Наташа помогает матери полоть клубнику. Но когда заметила, что Алёнка за ней подглядывает, начала кривляться, прыгать, и Алёнка ушла. А тут вдруг Наташа сама прибежала!

На дороге против соседских ворот Алёнка увидела телегу с лошастью Звёздочкой. На телеге стояли два больших сундука, кованных железом, а сбоку примостились конюх Лёнька и бабка Нюра в чёрной одежде. Бабка держала на коленях горшок со столетником и ни на кого не смотрела — по бороздкам, морщинам её лица скатывались слезинки. И она не вытирала их.

Собралось много народу. Старухи шептались, вытирали платками глаза и жалостливо смотрели на бабку Нюру. Во дворе были тётя Люда, дядя Петя, Наташин отец, и Сашка. Они втаскивали в дом железную кровать с высокими ножками на колёсиках. Кровать никак не проходила в дверь, будто упиралась. Тётя Люда ругалась, что они поцарапают ей все стены, дядя Петя вспотел и тяжело сопел от напряжения, а Сашка что-то сердито бурчал под нос.

— Это бабушке? — деловито спросила Наташа.

— Пока ты на ней спать будешь, — отрезала тётя Люда.

— Не хочу я на этой!.. — сморщилась Наташа.

— Да хоть ты-то отстань!

Наташа уже собралась зареветь, но услышала шёпот Алёнки:

— У меня тоже такая. На сетке здорово прыгать!

— Ну да! — дёрнула плечом Наташа. — Ну, ма-а-ам, пускай она спит на железной...

Тётя Люда что-то хотела сказать. Но тут она заметила Алёнку и улыбнулась.

— Леночка, ты что у нас давно не была? Заходи почаще... Теперь, правда, тесновато будет, ну да ничего. — Она посмотрела на людей, толпившихся вокруг



телеги с бабкой Нюрой.— Надо побыстрее с этим делом развязаться. Девчонки, таскайте мелкие вещи.

— Сундук открывать?! — удивилась Наташа.— Чтоб все смотрели?!

— А пускай поглядят,— сказала, потряхнув своей «башней», тётя Люда.— Поди-ка, не все столько имеют!..

Наташа дала Алёнке держать шкатулку из разноцветных ракушек, вытащила маленькое зеркало и рамку для фотокарточек. Свысока посмотрела на любопытствующих старух и грохнула крышкой сундука.

— Пошли домой,— сказала она бабке Нюре, безучастно сидевшей с цветком в руках.

Бабка послушно слезла с телеги и тихонько пошла во двор, неся перед собой столетник. Слёзы застыли на её щеках. Алёнка посмотрела на подружку.

— Наташ, а что бабушка плачет?

— Она всё время плачет,— отмахнулась та.— Мама сказала: «Поплачет да перестанет...»

Вечером, когда Алёнка похвалилась, что помогала соседям, отец поглядел на неё холодно:

— Куркули! К бабкиной сберкнижке подбираются, не иначе. Всё денег им мало. Ишь какой приём устроили! Понапрасну Людмила Егоровна убиваться не станет...

На следующий день на задворках у соседей висели плюшевая жакетка, тяжёлый ватный салоп с вытертым рыжим воротником, широкие юбки и вязанные выгоревшие кофты. Вокруг стоял тяжёлый дух старых, лежалых вещей. Охраняла их сама бабка Нюра. Наташа с Алёнкой крутились тут же. Тётя Люда несколько раз выглядывала в окно, спрашивала, не хочет ли бабка Нюра чаю или пирогов, не устала ли она, не взопре-ла ли. Потом вышла на задворки сама и увела бабку в дом.

— Пошли! — позвала Наташа и Алёнку.— У нас перес-тановка! Сашка будет в большой комнате спать, а мы с

бабушкой — в маленькой. Ей полированную кровать поставили!..

Широкая деревянная кровать пыжилась от близны покрывала и взбитых подушек. В угол втиснулась неуклюже-высокая койка на металлических ножках.

— А я на этой уродине буду спать! — горестно вздохнула Наташа. — Всё для бабушки стараемся...

Бабка Нюра неслышно вошла и села на пушистое покрывало, отрешённо глядя перед собой.

— Ты зачем на кровати расселась? — возмутилась Наташа. — Пачкается ведь!..

Бабка Нюра испуганно поднялась и виновато посмотрела на внучку. В дверь заглянула тётя Люда.

— Чего шумишь? На бабушку ругаешься... Бабушка больше не будет на кровать садиться, не кричи. Бабушку нужно любить!

Наташа сердито посмотрела на мать:

— Сама ведь говорила!..

— Ничего-ничего... — Тётя Люда засуетилась и подтолкнула девочек к двери: — Идите, погуляйте, бабушка отдохнёт.

— Сколько у нас хлопот с бабушкой! — совсем как взрослая, вздохнула Наташа.

...— Куркули-то, бабушкин дом за десять тыщ загнали! — возмущался, подвыпив, отец. — Теперь бабка им ни к чему! Пенсия маленькая, много не выдоить Людмиле Егоровне. Заклюёт она мать...

Летом у Алёнки много дел. Надо помочь дедушке натаскать для поливки бочку воды из пруда, прополоть вместе со старшей сестрой Таней грядки: сорная трава растёт намного быстрее, чем клубника, морковка или репа. Ещё нужно проверить тайник с разноцветными стёклышками под старым тополем у конюшни. А ещё... в скворечнике появились птенцы. Алёнка заберётся на крышу сараюшки и наблюдает за ними. Про всё забывает, едва её домой дозовутся!

А тут как-то засобиралась бабушка Поля в город. Пообещала купить Алёнке гостинец и оставила их с дедом домовничать. Таня в пионерском лагере, мама с отцом на работе...

Алёнка поставила стул в угол, где висели бабушкины иконы, и быстро влезла: на главной, самой большой и самой красивой, картинке, по бокам от серебряной тётеньки с маленьким ребёночком, приклеены разноцветные камушки. Эти камушки были очень похожи на леденцы, и Алёнке всегда хотелось их потрогать: как посмотрит в угол, сразу во рту будто сладко делается.

Алёнка колупнула камушек ногтем. Камушек оторвался, и Алёнка сразу слезла со стула. Может, бабушка ещё и не заметит? Вон сколько их там осталось! И вовсе это не леденцы и не камушки, а какие-то разукрашенные скорлупки!

Дедушка возился на кухне.

— А ежели нам, Олёнушка, уху сварганить? Бабку накормим, когда приедет. Сами наедемся...

Алёнка внимательно поглядела на деда: догадался он про её баловство или нет?

— Давай, деда, уху! Чур, я буду варганить!..

Алёнка больше всего на свете любит дни, когда они с дедом уху варят. И дедушка такие дни тоже очень любит.

Дед порылся в кармане и вытащил несколько монеток.

— Сбегай, внученька, к Лене-рыбачке. Поди-ко, она уже вернулась с рыбалки. Беги, Олёнушка, ноги у тебя молодые, быстро обернёшься, а я покуда щепок насобираю для печки...

Алёнка что есть духу мчится через прогон. Это место она недолюбливает; в прогоне пасутся гуси, и, когда Алёнка проходит мимо, они начинают вытяги-



вать шеи, шипеть, как проколотый мяч. Алёнка однажды еле убежала от сердитой гусыни — та даже палки не испугалась! Через прогон намного скорее будешь у реки — другая дорога целую улицу огибает, поэтому и бежит Алёнка коротким путём, хоть сердце уходит в пятки. Кажется, что даже денежки в кармане испуганно вызванивают: «Не было бы гусей! Только бы не было!..» А гусей и в самом деле нет: то ли хозяйка позвала, то ли на речку ушли. Алёнка отдышалась, пошла по лесенке, не торопясь. Внизу, на плоту, на белой от солнца и воды скамейке, сидят старухи из инвалидного дома: слепая баба Саша и тётка Лена-рыбачка. Их Алёнка хорошо знает: они много раз в гости к бабушке приходили.

Алёнкина бабушка некоторых гостей любит — с ними она подолгу пьёт чай из самовара, угощает их городскими мягкими конфетами и баранками, разговаривает про Излуки и про церковные праздники, которые Алёнкины родители почему-то не отмечают. А есть ещё другие гости, они ходят редко, но когда придут, бабушка Поля говорит с ними мало, на стол не собирает и даже не присядет в это время, как будто ей очень некогда. А потом, когда гости уходят, бабушка долго ворчит, гремя посудой в буфете: «Какого лешего, прости господи, ходят? Людям отдыха никакого! Знают ведь, что не больно им рады — всё одно тащутся!..»

На самом-то деле бабушка добрая! Вот бабку Агафью Алёнка вообще-то тоже не очень любит — бабка чёрная, страшная, скрипучая, — но ведь она совсем одна живёт в старой маленькой избушке на краю села! Избушка похожа на старую баню: окошки грязные, брёвна в стенах тёмные, из пазов клочья пакли торчат и перед дверью даже ни крылечка, ни скамеечек нет, у входа две грязные доски, и сразу дверь в кухню с чадящей керосинкой и низким потолком. Конечно, в таком доме боязно жить одной, вот бабка Агафья и ходит по

селу, высматривает, не случилось ли чего. Она всегда первая узнаёт, когда у людей несчастье, и спешит в тот дом: людям уже не до Агафьи, они её не гонят, а, наоборот, просят помочь, посидеть, сделать что-нибудь. Поэтому, наверное, в селе и не любят бабушку Агафью, что она с несчастьем в дом заглядывает, но Алёнке её всё равно немножко жалко. И когда бабушка Поля поскорее выпроваживает чёрную старуху, Алёнка переживает за Агафью.

Ещё Алёнкина бабушка не любит, если к деду приходит конюх — дурачок Лёнька: старый дядька, который любит поговорить, но говорит очень быстро и непонятно, как будто положил в рот горячую картошку и перекатывает её, чтобы не обжечься. А бабушка выставляет Алёнку из комнаты и сердито говорит деду: «Шли бы вы на улицу. Вишь, ребёнок таращится — на кой ей сызмальства уродства людские?»

Зато когда приходит слепая баба Саша, бабушка торопится собрать на стол, ставит самовар. Сразу видно, что она очень рада. Алёнке тоже нравится, когда приходит баба Саша: она совсем не похожа на других излучких старух.

Баба Саша всегда держит голову прямо, будто прислушиваясь. И если скажет: «Идёт кто-то», через некоторое время и Алёнка услышит шаги. Баба Саша даже может узнать по шагам человека, и Алёнка верит, что она слышит, как мыши под полом бегают. Слепица любит рассказывать Алёнке сказки, но они не похожи на бабушкины и какие-то непонятные. Алёнка никогда не дослушивает их до конца и старается потихоньку улизнуть.

Баба Саша до того толстая, что, когда ходит, живот у неё колыхается. Говорит она негромко. А книжки у неё совсем не похожи на Алёнкины, в них нет ни одной буквы — какие-то бугорки с острыми верхушками.

— Я, Олёна, пальцами читаю, — объяснила как-то баба Саша.

Но Алёнка не поняла, как это — читать пальцами? Ведь ничего не видно!

Алёнкина бабушка папиросный дым не любит. Это знают все мужики и никогда не суются к ним с куревом. Только одна тётка Лена-рыбачка не боится бабушку: сядет на диван, вытащит папиросу и дымит. Тётка Лена ходит тяжело опираясь на костыль. Он старый, уже потрескался и скрипит. Тётка Лена всегда говорит, будто сердится: голос у неё грубый и громкий. Она ловит рыбу, а потом выходит к сельпо и продаёт её... Вся рыбой пропахла! Запах невкусный, остаётся надолго. В Излуках её сторонятся. И хоть все охотно покупают у тётки Лены рыбу, редко кто зовёт её в дом. А у Алёнкиной бабушки тётка Лена бывает часто. И гостит долго. Воздух становится синим от её папирос, но бабушка Поля не ругает тётку Лёну. Это всё потому, что тётка Лена-рыбачка всегда приходит вместе с бабой Сашей. Они — подруги. Алёнке странно, что такие старухи говорят про себя, как маленькие девочки,— подруга. Она всегда смеётся, когда, собираясь уходить, тётка Лена-рыбачка громко говорит бабе Саше:

— Ну, подруга моя дорогая, пора нам домой отправляться: на ужин опоздаем...

Тётка Лена и баба Саша живут в доме инвалидов. Он стоит на берегу реки и похож на школу, в которую ходит Алёнкина сестра Таня,— большой, деревянный, в два этажа. В нём много окон, они широко и светло глядят на реку. В хорошую погоду на скамейках перед домом и на высоком крыльце сидят аккуратные бабушки в одинаковых халатах из бумазеи и в беленьких платочках.

Алёнка с бабушкой не раз ходила к бабе Саше в гости, и старухи хорошо знают девочку. Сначала Алёнке казалось, что все эти бабушки совсем одинаковые, кроме бабы Саши и тётки Лены-рыбачки, а потом, когда со всеми познакомилась, оказалось, что бабушки в доме инвалидов разные.

Алёнка заходила в их дом. Баба Саша живёт на втором этаже, в большой комнате — палате. Алёнка удивилась, когда они пришли туда в первый раз: на двери висела стеклянная цифра «4», — ни у кого в Излуках она не видела, чтоб на комнате был номер, только на домах. Алёнке тогда очень захотелось, чтоб и в её с Таней комнате на двери была какая-нибудь цифра. Но бабушка Поля почему-то заругалась на Алёнку и сказала:

— Упаси тебя бог, девушка, от таких номеров! Человеку дом нужен. А не дверь с номером!..

Алёнка не поняла, а бабушка раскипятилась не на шутку:

— Это ведь до смерти маяться на людях! Не укроешься никуда. Общее-то, конечно, — добро, да и своё должно быть... По мне, дак хошь бы вода с хлебом, но дома!..

Тут вдруг тётка Лена-рыбачка соскочила со своей кровати и без костыля, глубоко припадая на больную ногу, быстро заковыляла к Алёнкиной бабушке. Схватила её за рукав и торопливо заговорила:

— Да ты погляди, Поля, какая у нас тут красота! Чисто, светло, спокойно... Ежели хочешь знать, не в каждой городской квартире такие полированные кровати!.. А уж какой уход-то за нами! Доктор навещает... — Она оглянулась на дверь, как будто звала этого доктора. — Сестра приходит.

Баба Саша сидела на кровати, покойно опустив белые руки на колени, слушала подругу и согласно кивала. А тётка Лена громко, будто спорила, доказывала Алёнкиной бабушке, что в инвалидном доме жить лучше, чем в своём.

— Разве ты, Полина, на дню четыре раза ешь да ещё по режиму? А мы — всегда! И мясо, и молоко, и творожок — свеженькое, вкусное!..

Но хоть и громко говорила тётка Лена, хоть и поддакивала ей с кровати баба Саша, смотрела Алёнка на ста-

рух и никак не могла поверить в их слова: уж больно печальное было лицо у бабы Саши, а у тётки Лены, наоборот, слишком весёлое. Так Наташина мама радовалась, когда бабку Ньюру они взяли,— улыбается, говорит ласково, а всё равно не по правде.

Все бабушки Алёнку узнавали издали, и каждая подзывала девочку поближе: щупали платёжишко, гладили по голове, совали конфеты. Спрашивали, что делают дед с бабушкой, как живут родители, что купили в дом.

Слушали бабушки внимательно, кивали головами, обсуждали громко, вспоминали потом своё, а про Алёнку забывали.

Излучких старух в инвалидном доме было немного. Здесь жили бабки из разных деревень со всей области. Давно ли, недавно ли приехали бабушки в инвалидный дом над рекой, а душа у них болела по родным местам. Алёнка не раз слышала грустную историю бабы Саши, которая жила раньше в богатой деревне. В семье их было тринадцать детей, все — зрячие, а баба Саша — последняя — родилась слепой. Всё равно в семье её любили, никто не дразнил и не обижал. Умела баба Саша и корову подоить, и дома прибраться, и ребёнка чужого понянчить.

А потом случилась в том селе большая беда: все дворы погорели дотла. И начали погорельцы устраивать свою судьбу каждый сам по себе. С шестнадцати лет баба Саша мыкалась сперва по родным, потом и по чужим людям, пока не определили её в инвалидный дом...

А тётка Лена ушла из дому от недобрых детей. Хотя в деревенских избах места много, но стала она вроде мешать.

Ещё жили в инвалидном доме одинокие, как бабка Агафья, у которых никого из родных ни в Излуках, ни на всём белом свете. Про этих Алёнка решила, что им лучше жить всем вместе.

...Спустилась Алёнка по длинной лестнице с выбитыми ступеньками к реке, подошла к скамейке и остановилась: уж больно сердито говорила что-то тётка Лена-рыбачка бабе Саше:

— Вот ведь нонче в город все рвутся! И чего хорошего-то? Я так думаю: скотину не хотят держать. Избаловались все кругом! А ведь сейчас только и обряжать коров-то. Механизмы кругом, автоматы... Я, бывало, по сорок вёдер воды в гору таскала! В стужу-то эдакую, зимой, склизко... И ничего ведь! Вся деревня, почитай-ко, коров держала! А теперь...— Тётка Лена махнула рукой на берег, где виднелись излучские избы,— какая-то тарлыга старая бегают!.. На цельное село одна-единёшенька!..

Баба Саша шумно вздохнула:

— До сих пор свою корову на ощупь помню... Рыжуха... Мама держала коровку-то... Столько нас, ребят, без молока не сдюжили бы... Ласковая была коровёнка... Морду, бывало, мне на плечо положит и затихнет так. А я ей за ушами чешу... У неё за правым ухом бугорок был, шишка такая небольшая, я так и помню... Сгорела Рыжуха-то... В тот пожар сгорела, бедная...

— Кабы мне сейчас домой возвратиться,— сказала тётка Лена-рыбачка,— хошь сто вёдер стала бы носить на себе, только бы в родной избе обрядиться! Хошь за коровкой ходить, хошь за свиньёй... Да вишь, как судьба-то повернула—без дома своего помирать буду...—Тётка Лена обмахнула глаза концом белого платка.

Алёнка шагнула на плот.

— Тётя Лена...

Баба Саша оглянулась:

— Олёна, ты?

— Ага,— кивнула Алёнка и вытащила из кармана копейки.— Деда рыбы хочет, мы с ним уху варить будем. Тётя Лена, ты ловила рыбу?

— Ловила-ловила, на ушницу будет.

Тётка Лена-рыбачка тяжело поднялась, костыль жалобно заскрипел. Подошла к лодке, начала распутывать прыгающих в сети рыбёшек. Ловко нанизала их в связку, протянула Алёнке:

— Вот тебе рыба. Неси деду.

— Расскажешь потом, вкусна ли уха-то вышла...— сказала ей вслед баба Саша.

— Ладно! — пообещала Алёнка, отсчитывая босыми ногами неровно прибитые ступени. Рука с тяжёлой связкой не поспевала за девочкой, и засыпающие блестящие на солнце рыбы летели следом.

Алёнка перебежала дорогу и свернула в прогон. На углу стоял дом с забитыми окнами: Мария Подойницына получила квартиру в городе и уехала вместе с детьми. А в старом доме, чтоб не залез никто и не набезобразничал, окна заколотили досками. Сколько раз Алёнка пробегала мимо этого брошенного дома и внимания на него не обращала: дом как дом — продаст его Подойницына, приедут новые люди. А сейчас вдруг посмотрела Алёнка на слепые окна и остановилась: окна в доме Подойницыной, совсем как глаза у бабы Саши.

Алёнка перехватила рыбью связку в другую руку и побежала через прогон. Гусей так и не было: купались ещё, видно...

Дедушка поджидал у ворот.

— Хороша рыбка! Молодец тётка Лена! Пусть здорова будет.

Он перебирал рыбу ласково и умело. Алёнка знала, что дедушка родился и вырос в деревне на большом озере, в дремучих лесах, потому знал толк в грибах, ягодах и рыбе. Никто лучше его не умел варить уху. Бабушка Поля не бралась за это занятие, хотя в других домах на кухне всё делали женщины.

В кухне затеплилась, загудела плита. Дедушка налил в посудину воды и поставил на огонь.

— Давай-ка, Олёнушка, почистим наш улов.— И взялся за нож.

Алёнка встала рядом. Ей под ноги ткнулся серый кот Васька и замяукал, требуя долю.

— Деда, а в инвалидном доме можно кошек держать? — спросила Алёнка.

— Не знаю, Олёнушка. Может, при кухне и живут, а так не зна-а-аю... Это ведь не в своём доме. Поди, заругаются санитарки, ежели каждой старухе захочется кошку завести... А тебе зачем это?

— Просто,— ответила Алёнка и замолчала. Потом подставила стул к плите и заглянула в посудину: вода начала пузыриться. — Деда, я сама!

— Сама, сама,— согласился дед и подал ей блюдо с голенькими рыбёшками.

Алёнка осторожно брала их и опускала в белую от пузырей воду.

— Всё. Пускай теперь уварится...

Уха вышла на славу: наваристая, ароматная...

Алёнку вскоре увезли в деревню Матюково, к родне. И хоть там часто потчевали девочку рыбаками и даже уху варили, дедушкина уха была самой вкусной.

Лето казалось долгим. В поисках сладкой земляники, в походах за головастыми обабками — грибами и в играх с комолым телёнком Ромкой отодвинулись куда-то мама с отцом и дедушка с бабушкой; подзабылись подружки.

К концу августа охладело жаркое солнце, забелели по утрам морозные пятна на лужайке, пожелтел и полёг лук на грядках, небо над деревней прорвалось недельным дождём.

Алёнку повезли домой.

Отец на радостях кинулся топить баню, а Алёнка побежала к Наташе, по которой так соскучилась. Прошла было в комнату, но тётя Люда вернула её к порогу:



— Надень-ка тапочки, ноги-то грязные, чай, по улице ходила!

Наташа лишь мельком взглянула на Алёнку — она занималась котёнком, который пытался вырваться из маленькой корзинки и громко пищал. Саша сидел за столом, готовил уроки, то и дело поглядывал на пушистого крикуна. Из маленькой комнаты неслышно выплыла бабка Нюра.

— Наташенька, ты бы не мучала кота... Он, вишь, надрывается... — несмело попросила она.

— Не мешай! Я уроки делаю, а ты меня путаешь! — крикнул ей Саша, не отрывая взгляда от котёнка.

А Наташа и не посмотрела на старуху.

— Мама, не мешайте, пусть дети играют, — высунулась из кухни тётя Люда. — Шли бы лучше к себе.

Бабка Нюра жалко улыбнулась:

— Так ведь животное... Жалко... Людочка, ты газету не убирала сегодняшнюю? Не вижу я что-то...

— Не знаю! Понедельник нынче! — отрубила Наташина мама.

— Тётя Люда, сегодня воскресенье...

— Ты молчи! Мы бабке всё врём — и какое число, и какой день, — она всё равно ничего не понимает! — шепнула сзади Наташа.

А Сашка рассмеялся:

— Нам забыли газеты принести!

— Да ведь я письмоноску-то сама видела, как же так? — растерянno посмотрела на него бабка Нюра. — Пензия у меня сегодня...

— И куда вам, мама, сейчас деньги?! — раздражённо спросила тётя Люда. — Обуты, одеты, всегда накормлены... Чего ещё?

— Да гостинчик хошь какой бы купила, и тебе, и внучонкам.

— Ой, да не смешите людей! Я всё куплю сама. А вы на безделье растратите!

Бабка Нюра попятилась в свой угол. Алёнка тихонько юркнула за ней. Железная кровать была покрыта старым выгоревшим одеялом.

На ней, свернувшись калачиком, лежал котёнок, сбежавший от мучителей. На стуле у кровати лежала толстая потрёпанная книга в тёмном лоснящемся переплёте с крестом во всю обложку. Бабка Нюра присела на постель и погладила котёнка:

— Спи, дитятко, спи...— Оглянулась и словно споткнулась взглядом об Алёнку:— Посиди со мной, девушка хорошая... Расскажи что-нибудь. В деревне, поди, хорошо было? По грибы ходила... И по ягоды... Ведро стояло, знать, сено доброе коровушкам будет... Моих-то овец Людмила продала, так, говорят, прирезать пришлось: не ели ничего и домой убежали...

Бабка Нюра говорила монотонно, словно забыв про Алёнку, а девочка слушала её внимательно и серьёзно.

— Хватит байки слушать!— входя, оборвала бабку тётя Люда.— Иди домой: мать в баню зовёт.

Алёнке хотелось слушать дальше— про овечек с человечьими именами, про подсолнухи у крыльца... Но бабка Нюра теперь молчала, смущённо поглядывая на дочь. Девочка вышла из комнаты...

— Сходи за бабкой, пусть хоть в баньке попарится,— сказал отец.— Вот и у неё радость будет.

В бане тесно, темно и жарко. Горячий пар лезет в уши, в нос, в глаза, и спастись от него нельзя. Мама посадила Алёнку на полоч. Вздыхает огненная каменка, чёрная стена обжигает горячей сажей спину. Сидеть наверху невозможно, но и слезть тоже нельзя: всю скамейку заняла баба Нюра, белая и пышная, как тесто в опаре. Мама трёт ей спину, старуха блаженно щурится и говорит, говорит... Алёнка не может слушать, ей жарко и жалко себя до слёз— она начинает тихонько поскуливать. И вдруг замирает, даже забыв о жаре, от громкого возмущённого возгласа мамы:

— Да как же им не стыдно?

— Не волнуйся, Галина,— успокаивает маму бабка Нюра.— Мне там хорошо будет. Мешать никому не буду. С себя-то я всё сама постираю. А тут я в тягость... Тяжело им со мной. Места и верно мало: повернуться негде... Дак ты уж подпиши, как депутат, бумагу-то в сельсовете, очень тебя прошу.

Мама сердито сдёрнула Алёнку с полка, быстро вымыла, окатила прохладной водой из таза, завернула в полотенце и вынесла в предбанник.

— Тань, а баба Нюра куда хочет? — слегка отдышавшись, спросила Алёнка.

— В инвалидный дом.

— Инвалидный? — Алёнка удивилась. Она сразу вспомнила слепую бабу Сашу, тётку Лёну-рыбачку и одиноких бабушек из инвалидного дома.— А почему?

— Не вертись! — Мама цепко дёрнула Алёнку к себе и повязала ей платок.

— Она, что ли, инвалидка?

— Старая она! — С горечью мама выпихнула Алёнку за дверь...

— Бабушка, а почему ты не в инвалидном доме живёшь? — спросила вечером Алёнка.

— Что это, батюшки мои, с тобой?! — всплеснула руками бабушка Поля.— С какой стати он мне?! У меня есть дед, есть ты, твоя мама, твой папа... Это у кого никого нет, тот живёт в доме инвалидов.

— А у бабы Нюры есть и тёта Люда, и дядя Петя, и Наташа, и Саша, и котёнок, а она всё равно пойдёт туда. Сама сказала!

— Да не уйдёт никуда баба Нюра. Не уйдёт,— успокоила внучку бабушка Поля.— Её не отпустит тётя Люда — она ведь дочка бабы Нюры... И все её любят. Никуда не уйдёт, не бойся.

Алёнка облегчённо вздохнула и уснула крепко и спокойно.

...К зиме бабушку Ньюру отвели в дом инвалидов.

— У нас с Сашкой опять своя комната! — гордо сказала Наташа, встретившись на замёрзшем пруду. — Алёнка, пойдём к нам поиграем!..

— Не буду я больше с тобой водиться! — мотнула головой Алёнка.

— Ну и не водись! — Наташа надула губы. — Если хочешь знать, мне мама давно велела с тобой раздружиться! Я к Илюшке Громову ходить буду. Громовы не то что вы — пустосумы!..

Алёнка пришла домой, когда дедушка уже разливал по мискам уху.

— Гулёна ты, гулёна, — ласково поругал он внуку. — Пришлось самому всё делать: и за рыбой к Лене-рыбачке ходил, и чистил, и варил... Едва управился без тебя... Ну, садись к столу.

Алёнка послушно забралась на диван и молча придвинула к себе миску.

— Уж не нашкодила ли где? — подозрительно посмотрела на неё бабушка. — Что форсишь, не ешь? Гляди, остынет...

Алёнка заглянула в миску: уха получилась, как летом, когда они с дедом оставались домовничать, густая, наваристая. И вдруг девочке припомнилось, как тогда на плоту баба Саша попросила её рассказать, какая у них с дедом уха выйдет. Алёнка отложила ложку: «А ведь тётка Лена-рыбачка, наверное, никогда не ест уху из своей рыбы!» Эта мысль просто поразила Алёнку. Всегда у тётки Лены была небольшая связка рыбы. А старух-то в инвалидном доме много. Может, никогда и не ели они такую, как у них с дедом уху?..

Алёнка дождалась за столом, пока бабушка, сердито хлопнув дверью, ушла в магазин, а дед, прикорнувший после обеда на диване, захрапел. Тогда она натянула на себя шубейку, вошла в катанки с подшитыми задниками и, надев рукавицы, осторожно сняла со стола по-

судину с ухой. Аккуратно, чтоб не расплескать, Алёнка дошла до двери и остановилась. Вернулась к буфету и тихонько, стараясь не потревожить дедушку, открыла стеклянную дверцу: «Отнесу бабе Саше и тётке Лене-рыбачке ложки. Пускай у них свои будут! Как дома...» В стеклянной дверце буфета отразился соседский дом. Алёнка подумала: «Там раньше баба Нюра жила...» Она снова потянулась к буфету и взяла третью ложку...

Уха совсем остыла, пока Алёнка добрела до инвалидного дома. И наверное, было не очень вкусно. Потому что бабушки ели и плакали. Особенно — бабка Нюра.



## Николай Коняев

### ЛЯГУШКИ

**К**огда Сашка вернулся из больницы, уже совсем стало тепло. В садах цвели яблони, тёплый ветерок дул с поля и чуть шевелил в палисадниках ветви деревьев.

Сашка сидел на бревне, лежащем возле канавы ещё с прошлого лета, и задумчиво рассматривал воду, подёрнутую склизкими крапинками лягушачьей икры. Среди этих зеленоватых островков сидели, высунувшись из воды, лягушки и, вытаращив глаза, смотрели на Сашку. Иногда они вздыхали, и тогда вокруг них булькала вода и большие пузыри плыли к берегу.

Первым заметил Сашку его приятель — второклассник Лёшка.

— Ура! — закричал он и побежал к Сашке.

Ещё не добежав, он принялся хохотать на ходу и рассказывать, как жили здесь без Сашки, как он сам, Лёшка, тоже чуть не попал в больницу — однажды, прыгая с забора, он чуть не сломал себе ногу.

— Во! — останавливаясь перед Сашкой, сказал он и принялся засучивать штанину. — Смотри, какой синячище!

Сашка отнёсся к этому совершенно равнодушно. Он только сумрачно взглянул на Лёшку и молча подвинулся на бревне.

— Ты чего? — удивился Лёшка.

— Лягухи! — стараясь не разжимать губ, процедил Сашка и кивнул в сторону канавы. — Не видишь, да?

С сомкнутыми губами ему было нелегко разговаривать, и он сипел всем нутром.

— Ну и что? — спросил Лёшка. — Подумаешь — лягухи... Да они тут уже вторую неделю сидят.

— Не сидят, а считают, — просипел Сашка.

— Чего?!

— Зубы, вот чего! — раздосадованно, во весь голос сказал Сашка. — Я не знаю, ты как маленький! Сосчитают зубы, и пиши пропало — помрёшь! Или ещё хуже — в такую же жабу сам превратишься.

— Ой! — испуганно сказал Лёшка и прикрыл ладошкой рот. — А правда?

— Точно! — сказал Сашка и, наклонившись к Лёшке, зашептал ему на ухо: — Мне в больнице один мальчишка рассказывал, у него лучший друг на глазах в жабу превратился. От этого.

И Сашка кивнул в сторону канавы.

— Да я им!.. — воскликнул Лёшка и схватил с земли камень.

— Э! — сказал Сашка и несколько раз потряхнул рукою, показывая, чтобы он немедленно выбросил прочь камень. — Не помогает...

Лёшка огорчённо сел на бревно и, обхватив руками голову, задумался. Ему было над чем подумать — всю весну он провёл возле этой канавы.

— Слушай, — спросил он, поворачиваясь к Сашке, — а незаметно ещё этого, а?

— Чево? — процедил сквозь зубы Сашка.

— Ну этого... — Лёшка кивнул на лягушек. — Лягушечьего, а?

Сашка пристально оглядел приятеля.

— Уши! — сказал он. — Глаза. Нос... Восемь зубов, одним словом, сосчитано.

Лёшка в ужасе нагнулся над водою. Точно: глаза вытаращены, как у лягушки. А нос...

— Ну что ты врёшь, в самом деле, — нерешительно сказал он. — Нос как нос...

— И у лягушки нос, — резонно ответил ему Сашка. — У тебя не хуже.

— Сам ты лягушка! — сказал Лёшка и сжал кулаки. — Я вот дам тебе, так сразу у них будешь.

— Да я сам дам! — сказал Сашка в ответ и тоже сжал кулаки.

Через несколько минут оба приятеля уже лежали на земле и, отчаянно пыхтя, барахтались в пыли. Каждый старался подтолкнуть другого к канаве. Наконец попытки их увенчались успехом, и оба очутились в воде.

Первым вскочил Сашка, облепленный тиной.

— Ага! — закричал он и шмыгнул носом. — Мне родители купаться не разрешают, если что, я скажу, что это ты...

Следом поднялся из канавы Лёшка.

Лицо его было грустным и задумчивым.

Не обращая внимания на Сашкины угрозы, он сел на брёвнышко и съёжился, обхватив руками плечи.

— Сашка, — тихо сказал он, — слышишь, Сашка?

— Чего тебе? — недовольно огрызнулся тот, стряхивая с лица воду.

— Я лягушку, кажется, проглотил, Сашка...

И Лёшка в подтверждение своих слов засунул в рот палец и действительно вынул оттуда какую-то водоросль.

— Вот, — сказал он. — Вот... Только вот это и осталось, а лягушку я проглотил.

Через некоторое время оба приятеля лежали в высокой траве за огородами и грелись на солнце.

Рядом с ними, разостланные на валунах, сохли их штаны и рубашки.



Друзья разговаривали.

— Верное дело! — говорил Сашка. — Мне парень тот так и говорил, что если только проглотить лягушку, то сразу можно и вылечиться. Тот, его товарищ, не успел. Он когда глотал, она ему зубы сосчитала.

— А я быстро! — сказал Лёшка, улыбаясь и поворачиваясь к солнцу животом. — Я и сам не заметил, как проглотил.

— Конечно, небось быстро! — хмыкнув, сказал Сашка. — Если бы не быстро, так и не осталось бы ничего от тебя.

— А сейчас... — Сашка чуть приподнялся, опершись на локоть, и оглядел Лёшку. — Сейчас вон и нос уже нормальный, и глаза проходить стали.

Лёшка весело засмеялся в ответ.

— Слушай! — сказал он. — А хорошо всё-таки быть человеком, а?

— Ну? — кивнул Сашка. — И главное, по земле ходить можно... А там, в канаве, знаешь как сыро...

Они замолчали, жмурясь на солнце.

Солнце ярко светило.

## РАЗОРВАННЫЙ БИЛЕТИК

**В**о дворе кинотеатра росли высокие деревья, и под ними неразличимые в густых сумерках стояли скамейки.

На одной из них сидела шестиклассница Люся и сжимала в кулачке билет. Сеанс должен был вот-вот начаться, но Люся не шла в зал — у входа, ярко освещённого электрическими лампочками, она видела Сеньку Шишкина, отъявленного классного хулигана и своего заклятого врага.

В том, что Сенька поджидает именно её, у Люси не

было никакого сомнения. Сегодня она уже не ходила в школу, потому что завтра должна была уехать с родителями в другой город.

Родителям было не до неё, они собирали вещи, и Люся почти целый день с утра бродила по городским улочкам, прощаясь с ними. Сеньку, идущего следом, она заметила в полдень, когда занятия в школе ещё не кончились.

Она долго старалась не обращать на него внимания, но потом это преследование вывело её из себя.

— Сенька,— сказала она, когда тот случайно оказался совсем близко.— Ну скажи, Сенька, чего ты такой вредный, а?

Сенька ничего не ответил, только показал ей язык — язык у него был толстый и некрасивый,— сразу же полез на дерево и стал подтягиваться на нижнем его суку.

— Ну и хулиган тогда! — сказала Люся и, вздохнув, побрела по переулку в сторону проспекта.

Сенька тогда тотчас же спрыгнул с дерева и пошёл следом. Так они и ходили весь день.

В конце концов, Люся устала бояться Сеньку и перестала его замечать. Но когда вечером родители отпустили её сходить последний раз в этом городе в кино и она вышла из подъезда на улицу, она снова увидела хулигана. Он сидел напротив их подъезда, на мусорных бачках, и не спускал глаз с двери.

Люсе тогда стало страшно: теперь-то он уж точно побьёт её. И она хотела было вернуться домой, но ей стало обидно, и она только упрямо тряхнула косичками и быстро зашагала в сторону кинотеатра.

Сенька преследовал её и на этом пути, и когда Люся вышла из кассы, то снова увидела его. К счастью, в это время к кассам подошло много народа, и Люся быстро юркнула в густую тень под деревьями.

Сенька не успел проследить за ней и стоял, напряжённо озираясь по сторонам. Люсе стало смешно вдруг,

как он вытягивает тонкую шею, пытаюсь увидеть её. Она сидела в густой тени под деревьями и могла спокойно наблюдать.

Однако скоро Люся перестала веселиться. Сенька, не найдя её нигде, занял правильную позицию возле входа в кинотеатр, так что теперь Люсе всё равно необходимо было пройти мимо него.

«Какой противный!» — в отчаянии подумала Люся и шмыгнула носом. Было обидно, что из-за этого хулигана ей не удастся попасть в кино.

Она всхлипнула. В уголках глаз защекотались слезинки. «Противный!» — подумала она и решительно встала.

Почти все зрители прошли в зал, и билетёрша сейчас оглядывала дворик, видимо собираясь закрыть двери.

Опустив голову, чтобы казалось, что она не смотрит по сторонам, но в то же время уголком глаза наблюдая за Сенькой, Люся направилась к входу.

Вот уже Сенька заметил её.

Вот он сделал угрожающую гримасу. Это ничего. Люся ведь как будто не видит его. Осталось уже немного. Скоро она протянет билет женщине и будет уже в безопасности. Ещё несколько шагов, и всё.

Но что это? Сенька прыгнул с крыльца и решительно преградил ей путь.

Теперь Сенька стоял совсем рядом.

«Ой, какие у него уши противные!» — подумала Люся и тяжело вздохнула.

— Пусти,— сказала она.

— Ты в кино, да? — спросил Сенька, сглотнув слюну, и хотел ещё что-то сказать, но, наверное, не придумал ничего.

— В кино! — сказала Люся. — Вот смотри — билет... Сейчас уже кино начнётся...

И она с мольбою взглянула на билетёршу, но та не обращала на них никакого внимания.

— Да,— рассматривая билет, сказал Сенька.— В кино. Точно.

— Уже идти надо, а то не пустят....— сказала Люся и протянула руку, чтобы забрать свой билет.

— А я не отдам!— сказал Сенька и снова сглотнул что-то.

— Отдай, пожалуйста!— попросила Люся.

— Не-а!— Сенька покачал головой.— Не отдам.

— Ну, отдай же!

— Не отдам.

И Сенька, засмеявшись, отпрыгнул в сторону. Оттуда он помахал билетиком, дразня Люсю.

Люся сделала несколько шагов к нему, но он снова отпрыгнул, и когда Люся опомнилась, они были уже далеко от входа в кинотеатр и некому было пожаловаться на Сеньку.

— Отдай!— сказала Люся, останавливаясь.

— Не отдам!— сказал Сенька и снова отпрыгнул в сторону, опять помахал билетиком:— Сходила в кино, да?

И он показал язык.

— Ну и не надо тогда!— сказала Люся. Она почувствовала, как слезинки опять защекотали в уголках глаз.— Ну и ходи тогда сам... Подумаешь...

Голос её стал совсем плаксивым. Ей показалось это стыдным — плакать перед Сенькой. Она только махнула рукою и побежала из двора.

Она не видела, что Сенька вначале словно остолбенел.

Он стоял несколько минут так и смотрел на билетик, словно пытаясь высмотреть в нём что-то... Но потом стал вдруг рвать его со злостью, а отбросив от себя прочь кусочки бумаги, заплакал. Закрыв грязными ладонями глаза и отвернувшись к дереву, прижался к нему. Плечи его вздрагивали.

Впрочем, здесь, под деревьями, было довольно темно и никто не видел плачущего мальчика.

## КОГДА ВКЛЮЧАЮТ ФОНТАНЫ

— **Н**ет! — сказал Гошка. — Правда! Я самым толстым тогда в классе был.

— Ты? — Катя посмотрела на тощего Гошку и фыркнула.

— Я... — Гошка глуповато улыбнулся.

Они стояли и разговаривали возле булочной, а напротив был сквер, и там, на скамеечках, сидели люди и читали газеты.

Ещё в скверике — пирамидкой посреди круглого бассейна — возвышался фонтан, но сейчас он не работал, и по сухому дну его прыгали воробьи.

— Ужасно был толстым... — повторил Гошка.

— А я... — задумчиво проговорила Катя. — Я тогда, в четвёртом классе, ужасно хотела стать высокой!

— Да! — удивился Гошка. — Как здорово!

— Ага! — Катя улыбнулась. — Я даже на цыпочках ходила, чтобы казаться выше. А все думали, будто я в балерины собираюсь.

Они уже не стояли напротив скверика, медленно шли по переулку.

— А у нас... — сказал Гошка. — У нас в четвёртом классе один парень учился. Дак его ушаном звали. У него голова с ушами толще туловища была.

Гошка облизнул языком пересохшие губы и с ужасом подумал, какую чушь он рассказывает Кате.

— Да! — чуть не плача от отчаяния, сказал он. — Его, наверное, и в армию не возьмут, если он уши не исправит. На него никакая фуражка не налезет!

Он замолчал, не зная, что ещё рассказать.

— Гоша! — спросила Катя. — А куда мы идём?

— Я не знаю... — растерялся Гоша. — Я думал, тебе туда надо...



— Не-е...— сказала Катя и засмеялась.— Мне совсем в обратную сторону.

Они молча прошли всю дорогу до скверика.

— Как под деревьями сейчас хорошо...— остановившись, сказала Катя.— Зайдём, а?

Гоша только согласно кивнул, и они медленно вошли в скверик, выбирая себе скамейку.

— Мы, наверное, всё лето будем жить в городе...— задумчиво проговорила Катя.— А здесь так скучно сейчас! Все уехали... Знаешь...— Она повернулась к Гошке.— Знаешь, как я обрадовалась, когда увидела тебя?

— Я тоже очень обрадовался...— ответил Гошка и покраснел.

Он покраснел, потому что подумал: Катя обрадовалась ему, как однокласснику, а он... он обрадовался ей совсем иначе. И ещё Гошка подумал, что Катя уже давно нравится ему, ещё с осени, когда он впервые увидел её в своём классе.

Искоса, украдкой Гошка взглянул на девочку.

Она смотрела сейчас на пересохший фонтан, и лицо её было грустным, а над ухом дрожал колеблемый ветерком светлый завиток волос.

— Знаешь,— сказала Катя,— а я очень хотела в детстве фонтанчиком стать. Чтобы включать и выключать фонтаны.

— А я умею!— обрадовался Гошка.— Смотри!

Вскочив со скамейки, он бросился за кусты, и скоро оттуда раздался его торжествующий голос:

— Видишь?

И точно: фонтанчик ожил.

Вдруг возникла над его остриём заблестевшая на солнце струйка воды, и встревоженные воробьи поднялись в воздух, закружились, задевая крыльями за сыплющуюся воду.

— Вижу!— радостно закричала Катя, и глаза её заблестели.

Она вскочила и захлопала в ладоши.

Но на скамеечке напротив сидела пожилая женщина и читала книгу, поддерживая рукою очки.

Услышав крик, она подняла голову.

— Девочка! — строго сказала она. — Не хулиганьте, пожалуйста.

— Да при чём тут она?! — возмутился подошедший к скамейке Гошка. — Это я фонтан включил, чтобы всем было лучше.

— Оба — хулиганы! — строго сказала женщина и снова склонилась над книгой.

— Пойдём отсюда! — Катя дёрнула Гошку за рукав.

— Вот-вот! — одобрила их намерение женщина. — Идите и хулиганьте в другом месте.

— Какая тётка вредная, а? — сказал Гошка, когда они подошли к Катиному дому.

— Не вредная она... — Катя вздохнула.

— Ну как же не вредная? — удивился Гошка. — Ругается.

Катя быстро взглянула на него.

Она хотела сказать, что, может быть, пожилая женщина обиделась так из-за того, что для неё не включали в своё время фонтаны, но, подумав, не сказала ничего и, помахав Гошке, скрылась в своём подъезде.

А Гошка посмотрел ей вслед и пошёл назад, прошёл мимо скверика, где весело посверкивал водой включённый им для Кати фонтан.

Гошка весело улыбнулся. Ради Кати он был готов включить все фонтаны в городе.





# Лев Котюков

## БАБУШКА

**В** жаркий, удушливый июльский день притомит беготня во дворе, наскучат незамысловатые послевоенные игрушки, которые из каких-то неведомых краёв и городов привозил отец, влетишь по скрипучему, нагретому солнцем крыльцу на веранду, а потом в прохладную тишину дома — и напрямик в дальнюю бабушкину комнату.

— Бабушк, я наигрался!

— Вот и умничка, сейчас обедать будем,— гладит она меня по голове и, стараясь, чтобы я не заметил, торопливо утирает заплаканные глаза.

— Бабушка, ты зачем плакала? Тебя кто обидел?

— Что ты, что ты, кто меня обидит... Кому я нужна,— смутившись от того, что я подсмотрел её слёзы, суетливо отвечает бабушка.

Но я продолжаю упорно допытываться:

— А чего плачешь, если тебя никто не обидел?

— Умру я скоро, вот и плачу,— тяжело вздохнув, тихо, как будто не мне, а кому-то другому, кого нет с нами, но кто слышит нас, отвечает она.

Я задумываюсь и вдруг начинаю понимать, что действительно бабушки умирают. Вот недавно умерла бабушка Фрося из дома напротив. В тот день все пацаны с нашей улицы в нетерпении и предвкушении чего-то удивительного торчали возле дома умершей —

ждали, когда будут её выносить. Гроб с бабушкой Фросей вынесли её мрачные родственники, погрузили на машину «полуторкв», и ничего удивительного не произошло. Только и запомнились разговоры женщин и старух, толпившихся у ворот и отгоняющих нас, чтобы не мешали:

«Ну, слава богу, пожила... Восьмой десяток разменяла... Каждому бы так прибраться — тихо, покойно...»

И я, вспомнив всё это, весело говорю:

— Да ты, бабушк, и так во сколько прожила! Чего ж плакать-то?.. Вон баба Фрося к нам ходила и не плакала...

Бабушка смотрит на меня с ласковым укором, глаза её сухи, воспалены и печальны.

— Это верно, что пожила... Верно, внучек... Да ведь ещё хочется...

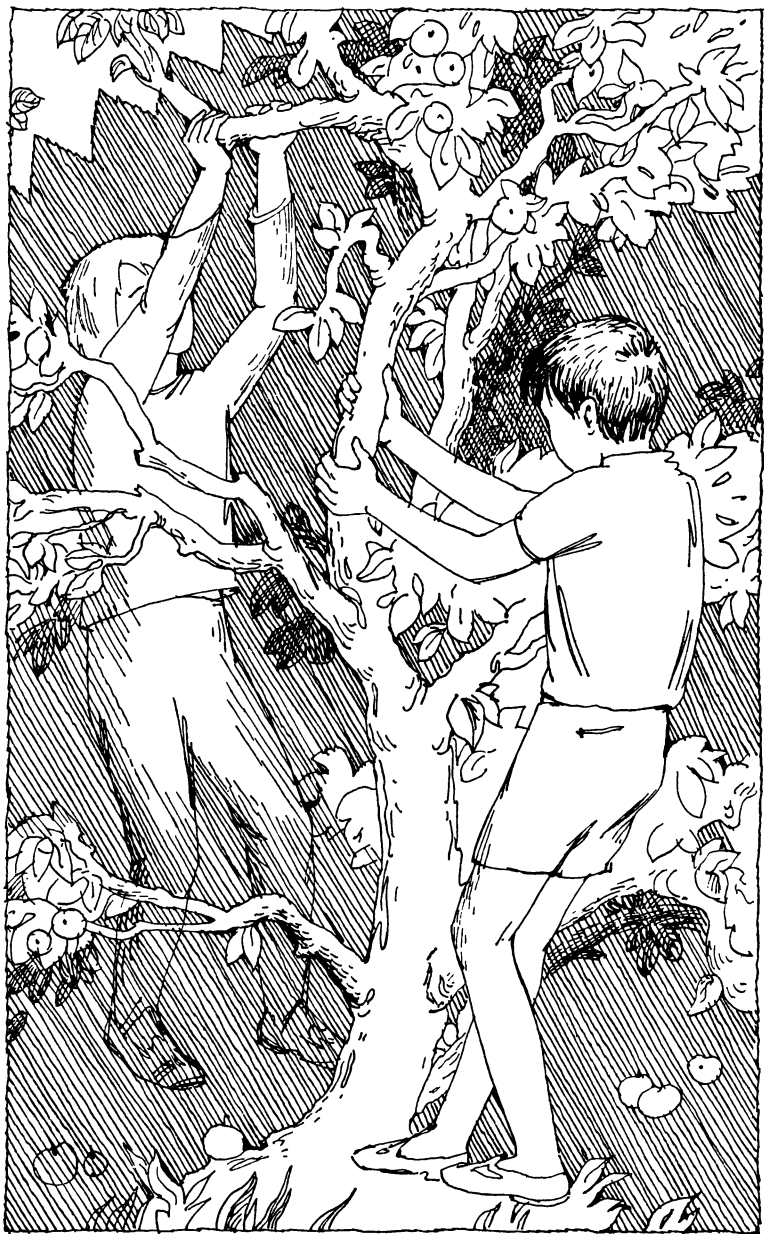
— Ну, раз хочется — живи! — великодушно разрешаю я. — Только не плачь!

И мы с бабушкой идём обедать.

Ночью я просыпаюсь и слышу: кто-то плачет за перегородкой. Прислушиваюсь и понимаю — бабушка... И, вновь проваливаясь в сон, успеваю подумать: «И чего она опять плачет?..» Мне и невдомёк, какая пустота разверзнется в моей душе после её смерти, невдомёк, что через десятки лет мне будет сниться и сниться бабушка. Я буду просыпаться от её плача. Стиснув зубы от боли и бессилия, буду лежать и напряжённо всматриваться в предрассветную тьму.

## БЕСПОКОЙСТВО

**С**носят старые дома. К вечеру, когда умолкает рёв экскаваторов и бульдозеров, из разверзнутых стародавних подвалов тянет гнилой плесенью, мерещатся



какие-то склепы, привидения, клады. В обломках роются деловитые, угрюмые мужики, выбирая подчистую всё, что ещё может пригодиться в хозяйстве.

А за развалами домов в беспризорных августовских садах орудуют подростки. Завтра здесь начнут рыть котлован. А пока пацаны доламывают уцелевшие заборы и беседки, жгут костры, кричат, пересвистываются.

Двое ребят с остервенением трясут ухоженную антоновку — яблоки градом сыплются в траву. Но пацанам всё мало. Они залезают на дерево и начинают обламывать суки с уцелевшими яблоками.

— Эй, зачем дерево ломаете?! Мало, что ли, натрясли?! — кричу я.

Они с удивлением смотрят на меня. Наконец тот, что постарше, отвечает:

— А чего?.. Всё равно её завтра под корень...

Мне нечего возразить, и я нравоучительно изрекаю первое, что приходит в голову:

— Деревья ломать нельзя!

И, как ни странно, мои слова действуют — ребята спрыгивают на землю.

Ухожу из обречённого сада и на углу оборачиваюсь. Мальчишки стоят под яблоней и напряжённо смотрят в мою сторону. Заворачиваю за угол и с болью слышу треск обламываемых ветвей. Я лицемерно пытаюсь успокоить себя, что завтра ведь здесь всё под корень... А на сердце ох как беспокойно!..



Тамара Ломбина

## ИЛЮШКА ПОТЕРЯЛСЯ

**Т**акого ЧП ещё никогда не было в 457-й школе. За два дня до праздника с продлёнки пропал ученик второго класса Илюшка Ширшев. Валентина Петровна сидела в учительской с красным и распухшим от слёз носом. Она уже сбилась с ног и теперь, обессиленная, ждала у телефона.

«Как я матери скажу, что я его потеряла? — И она опять начинала плакать: — Отвечай теперь за него... И главное, перед праздником!» Как будто не перед праздником потерять мальчика было не так страшно.

Но завуч, Лариса Дмитриевна, как человек трезвый, успокаивала Валентину Петровну:

— Ну, куда он денется, решил попутешествовать: прокатится на автобусе, а как побродит да поймёт, что потерялся, обратится к милиционеру, и доставят его к нам в целости и сохранности.

— В кинотеатре помню, что он был, — вспоминала учительница, — возле кинотеатра, помню, был, на авто-

бусной остановке...— Она вдруг радостно встрепенулась:— Он ещё какой-то деревяшкой грязной мне пальто испачкал.— И Валентина Петровна, просияв, бросилась к шкафу и показала всем грязную полу пальто.— Они ведь лезут куда попало,— всё сокрушалась она,— за ними разве уследишь: их тридцать, а я одна.

Мама Илюшки с запавшими от непролитых слёз глазами сидела у телефона. Вот уже три часа ей отвечали: «Нет, ваш сын нигде пока не обнаружен».

Она воспитывала Илюшку одна, и ей не с кем было поделиться сейчас своим горем: все родственники жили в другом городе.

Мама подошла к портрету сына над кроватью и долго всматривалась в него. Очень хорошо вышел у неё фотопортрет: Илюшка смотрел со стены своими серыми глазищами.

— Нет, нет,— проговорила мама,— я чувствую, что с ним ничего не должно приключиться, я чувствую.

Виновато задребезжал телефон, и женщина поняла почему-то, что это Илюшка. Где-то далеко-далеко слышалось:

— Мамочка, у меня для тебя сюрприз... Ты не беспокойся, у меня не было копеек, и я не мог позвонить, а сейчас попросился к сторожу.

Женщина повесила трубку и впервые за весь вечер заплакала.

Илюша пришёл только через час. Весь грязный, усталый, он улыбался и протягивал матери тяжёлое отсыревшее древко со свёрнутым грязным полотнищем.

— Я его от самого кинотеатра «Пионер» нёс.

Мать ни о чём не стала спрашивать, молча взяла флаг, поставила его в угол, а потом позвонила учительнице, что сын нашёлся.

Когда она подошла к Илюшке, тот уже спал. Мама потихоньку раздела его, да так и оставила всего чумазого на диване.

Утром Илья принялся за рассказ:

— Ну вот, мам, мы мультики посмотрели, а потом пошли на автобусную остановку. А тут, представляешь, флаг лежит! Настоящий! И все на него наступают, главное. Они, наверное, не видели, а я увидел и вытащил его из лужи. Он такой грязный был, даже вода капала. А Валентина Петровна и говорит: «Ты что, Илья, ослеп, что ли, не видишь, что всё пальто мне своей палкой испачкал?» — «Это совсем не палка, а флаг», — сказал я ей, но она меня не слышала, так как подошёл автобус, все закричали: «Садимся, садимся». А я и думаю: «А флаг?»

Илюшка вспомнил, как вначале испугался, когда автобус уехал, а он и номера не запомнил, он поставил было флаг около телефонной будки, но тот плохо держался и опять бы упал.

— Если бы у меня была двушка, я б тебе обязательно позвонил, — рассказывал он, — а так даже в автобус не войдёшь, хоть и знаменосец.

Уходил один автобус за другим, а Илюшка всё никак не мог сообразить, что же делать.

Тут подошёл какой-то мальчишка, который начал разглядывать сначала Илюшку, а потом его находку.

— Флаг, что ли? — спросил он наконец.

— Флаг, — ответил Илюшка.

— А чё это ты его так испачкал? — удивился тот.

— Это не я, это он сам упал, — ответил Илюшка, прижимая флаг к куртке, которая уже и так вся была в грязных потёках.

— А ты что, себе его хочешь взять? — возмутился мальчишка.

— Да, — ответил Илюшка.

— Ты что, нельзя, это общий флаг, его нельзя брать, — строго сощурил глаза его новый знакомец.

— А чей же он? — спросил Илюшка. — Почему же тогда его никто не поднял?

— Откуда я знаю... А брать его всё равно нельзя.





Давай занесём его в кинотеатр, они нам ещё спасибо скажут.

Мальчишка даже хотел взять флаг, представив, как их похвалят, но передумал, глянув на Илюшкину куртку.

Перед дверьми в фойе была очередь: начинался следующий сеанс.

Илюшка с новым знакомым решили обратиться к контролёрше, но на них так все зашикали, что контролёрша велела им убираться из кинотеатра:

— Хулиганы, мало им улицы, они уже и сюда со своими палками лезут.

— А ты где живёшь? — спросил Илюшка.

— Да здесь, за углом, — ответил мальчик, — а что?

— Может, ты возьмёшь его и до праздника у себя оставишь? Вымоешь, и у тебя на праздник будет свой флаг.

Мальчишке понравилось Илюшкино предложение.

— А ты мне его донесёшь до дома? А то меня ругать будут, если я куртку испачкаю.

— Конечно, — с готовностью ответил Илья.

Через пять минут они были в подъезде девятиэтажки. Дверь открыла бабушка.

— Где это ты бродишь? — сердилась она. — Про уроки забыл. — Тут она увидела Илюшку. — А это ещё что за явление? Всё-всё-всё, игры закончены, прощайтесь.

Мальчик пожал плечами, мол, сам видишь, ничего не поделаешь, и дверь захлопнулась. Илюшке было неудобно звонить к ним и просить денег на телефон-автомат.

Он вышел на улицу и решил идти пешком. Правда, он знал, что из старого города в их микрорайон идти долго, но другого ничего не придумывалось. На автобусной остановке он спросил у взрослого парня, как ему дойти до музыкальной школы.

— Так тебе нужно в новый микрорайон, — ответил тот, — это далеко вато топать. А вы что, в «Зарницу»

играете?— Он кивнул головой на флаг. Тут к нему подошла девушка, и они вскочили в последнюю дверь автобуса.— Выйди на проспект и иди всё время прямо, никуда не сворачивай!— крикнул парень в уже закрывающуюся дверь.

Илюшка так и не успел ему объяснить, что это потерявшийся флаг.

Только сейчас мальчик заметил, что на улице уже давно горят фонари. От мелкого дождя он весь промок и был голоден, как крокодил. Он вышел на проспект и пошёл, пошёл...

Было уже совсем темно, дождь моросил всё сильнее, а проспект стал загородной дорогой, по обочинам которой высился тёмный лес.

— Знаменосцы не трусы,— уговаривал себя Илья. Дрожащим от страха и холода голосом он запел:

*Мы шли под грохот канонады...*

Ветер добирался до самого желудка— так казалось голодному Илюшке. Он поднял флаг высоко над головой и громко-громко продолжил:

*Мы смерти смотрели в лицо...*

Какая-то огромная машина притормозила около него, и кудрявый шофёр с белыми зубами спросил:

— Ты чё, малый, псих?— и, обдав его брызгами, умчался.

— Сам ты псих,— чихнул Илюшка от гари.— Совсем и не страшно, вон уже и огни нашего микрорайона.— Но он всё равно почему-то часто оглядывался и пел всё громче и громче.

Но вот он подошёл к своему дому и вдруг подумал, как обрадуется мама, когда он принесёт флаг. Она, конечно, поругает его, но всё равно обрадуется...

Илюшка неожиданно замолчал. Мама тоже сидела и смотрела на него.

— Как хорошо, что сегодня воскресенье, правда, мам? — спросил мальчик.

— Хорошо, сын.— Мама погладила его по голове и помолчала, ожидая, что же Илюшка скажет ещё.

— А флаг?

— Я его уже вымыла и полотнище погладила,— ответила она.

— Мам, а давай его оставим до праздника,— предложил Илюшка и с испугом ждал, что она ответит.

— Конечно, Илюшенька,— всё так же без улыбки сказала мама.

Вдруг ему в голову пришла замечательная мысль. Он заторопился, глотая слова, боясь, что с ним не согласятся:

— Мам, давай сегодня погуляем с флагом, ему же трудно до праздника ждать. Вон у иностранцев везде их флажки, даже на стадионе.

Мама опустила было глаза, но потом поцеловала Илюшку и сказала:

— Пошли, сын.

Они гуляли с флагом долго, почти всё утро, и женщина ловила на себе удивлённые взгляды прохожих. Она даже предполагала, что у неё могут потребовать объяснение. Но, глядя в сияющие глаза сына, она знала и другое, что смогла бы дать объяснение... кому угодно.



Галина Маликова

## МАХНУ СЕРЕБРЯНЫМ ТЕБЕ КРЫЛОМ...

**Г**ошка ходит на Щучье один.

Чтобы добраться до озера, сначала надо идти лугом, потом лесом, а потом снова лугом. В лесу, там, где малинник, водятся змеи — чёрные гадюки, а на выходе из малинника, на тропке, — змеиное «кладбище». Каждый, кто этим малинником идёт, старается палкой убить змею, а потом бросает её, мёртвую, на «кладбище», поэтому, когда из малинника выходишь, ступить некуда от сухих змеиных шкурок.

Но Гошка не боится змей: ни живых, ни мёртвых. Он ничего не боится.

Бабушка не разрешает с Гошкой водиться. Она говорит, что Гошка — это рыжая оторва и что не сносить ему головы, а тётя Маруся, хозяйка дома, где Таня с бабушкой снимают на лето комнату, ещё и поддакивает: в соломахинской родне все шалопуты. И всё равно каждое утро Гошка свистит под Таниным окошком.

Любимое Гошкино слово — «слабо». «Слабо на сосну забраться» — и Таня забирается до самой верхушки.

«Слабо прыгнуть» — и Таня спускается к толстой нижней ветке, нависшей над песчаным карьером, и прыгает. Тогда Гошка ведёт Таню на земляничную полянку и позволяет съесть самые крупные ягоды или показывает кротовую нору, а иногда вырезает из коры такую лодку, которая не переворачивается даже в самой большой луже.

Таня во всём помогает Гошке: добывает жуков-короедов, а после дождя, пока ещё не просохло, собирает по тропинкам длинных и жирных червей. Гошка складывает червей в старую консервную банку, плотно закручивает сверху тряпицей, а по бокам проделывает гвоздём дырочки, чтобы червяк не задохся.

— Завтра на Щучье схожу, — говорит Гошка, вытирая руки об штаны и не глядя на Таню.

Он знает: бабушка не разрешит Тане идти на Щучье, да ещё с ним, с Гошкой. «Ни боже мой! — говорит Танина бабушка. — Только через мой труп!»

— По-ихнему жить — ничего нельзя, — ворчит Гошка. — Их слушать — всю жизнь Щучьего не увидишь.

Это он придумал завтра идти на озеро. Тайком идти, чтобы бабушка и не знала.

Когда рано утром Гошка свистнул под окошком, Таня уже не спала. Она осторожно выбралась из-под тёплого одеяла, натянула сарафан и, ни о чём не раздумывая, взобралась на подоконник и прыгнула в холодную и мокрую от росы траву.

Они пошли по дороге к большому лугу. Солнце уже встало, но было так холодно, что даже пальцы застыли.

— Замёрзла? — спросил Гошка. — погоди, ещё жара будет. Держи вот. — Гошка сунул Тане в руки маленькую корзинку, в которой лежала банка с червями, кусок хлеба, соль и несколько кусков сахара.

Солнце поднималось всё выше, но роса на траве не исчезала. Гошка остановился, опустил руки в траву, набрал росы и обтёр мокрыми руками лицо.

— Умойся,— велел он,— а то глаза, как у китайца, привыкла дрыхнуть по утрам. Эх...— в сердцах сказал он,— городские!..

Они прошли по обочине луга до самого его конца, потом свернули и пошли вдоль ручья, с одной стороны которого деревья были вырублены, а с другой — низко свисала черёмуха. Дальше, далеко в лес уходила просека. Они прошли ещё немного по просеке вдоль малинника на серых камнях и остановились.

— Тут побудь,— велел Гошка,— сейчас приду.

Малина уже перезрела, и, как только Таня прикасалась к кусту, много ягод сыпалось на землю. Таня осторожно сняла несколько ягод и положила в рот. Малина была сладкая.

Гошка скоро вернулся, держа в руках крепкую палку.

— Змеи там,— сказал он.— Мать говорит, укусит, так не спасёшься. (Таня посмотрела на свои изношенные сандалии.) Ерунда, это она пугает, чтоб я не шлялся. Вон Митрофаныха в прошлом году ужалила, так он ногу ножом вспорол, кровь отсосал и ничего: помаялся несколько дней и живёт себе.

— А у тебя нож есть?— спросила Таня.

Гошка молча вынул из-за голенища коротких резиновых сапог перочинный нож.

Таня успокоилась: с Гошкой не страшно, у него всё получается быстро, ловко, по-взрослому. Гошка хочет быть капитаном дальнего плавания, водить корабли в далёкие страны, и Таня верит, что он будет моряком. Она представляет белый город на берегу синего моря, большой белый теплоход, Гошку на капитанском мостике: коренастого, в белом кителе, с копной соломенных волос под капитанской фуражкой. Теплоход отплывает. Гошка сосредоточенно смотрит вперёд, командует, а потом вдруг поднимает голову и смотрит в небо. А там, прямо над кораблём, низко летит маленький самолёт, и Гошка улыбается, потому что знает: в этом самолёте лётчиком она, Таня, и это она машет



ему, как поётся в песне, серебряным своим крылом.

Только о том, что Таня мечтает быть лётчицей, не знает никто, даже Гошка.

— От меня держись шагах в трёх. Я остановлюсь — и ты ни с места! Замри так, чтоб я тебя не слышал. Змею увидишь — не вопи, в сторону не прыгай, не мечись. Если ты ей на башку не наступишь, она жалить не будет.

Медленно, друг за другом, они пошли в глубь малинника. Гошка молчал, Таня даже дышать старалась как можно тише. Вдруг Гошка остановился, замер, сосредоточенно посмотрел под куст малины и поманил Таню рукой.

— Смотри,— шепнул он. Впереди, шагах в трёх от Гошки, Таня увидела неподвижное чёрное кольцо.— Сейчас я её...

Гошка сунул Тане удочки и, неслышно ступая, стал медленно двигаться к чёрному кольцу. Он подошёл к змее совсем близко, резко взмахнул палкой и изо всей силы ударил. Кольцо взметнулось, Гошка ударил ещё раз, и ещё...

Когда Таня открыла глаза, Гошка шевелил палкой мёртвую змею. Мёртвая, она была ещё противнее, чем живая, и всё равно страшная, но Таня подошла к Гошке и посмотрела внимательно, чтоб запомнить.

— Стерва,— ругнулся Гошка и сплюнул.— Лежи теперь...— Он ещё раз крепко выругался.

Малинник кончился, и Таня облегчённо вздохнула, когда они увидели просвет между деревьями: там начинался другой луг, а за тем лугом должно быть Щучье.

Щучье не понравилось Тане. Она представляла его большим, как море, и голубым. На самом деле Щучье было сизое и узкое, как речка.

Гошка размотал удочки, одну дал Тане и велел насадить червяка. Червяк извивался, и Тане было его жалко. Гошка взял у Тани червяка, быстро насадил на крючок и, поплевав на него, отдал удочку Тане. Сам он распо-



ложился невдалеке и скоро стал вытаскивать одну за другой маленьких серебряных рыбок. Таниного червяка рыбы не замечали, ей стало скучно, она оставила удочку и подошла к Гошке. Она села на траву и обхватила руками колени.

Время от времени Гошка вытаскивал удочку, плевал на червяка и снова забрасывал. Когда поплавок уходил под воду, Гошка напружинивался, замирал и резко откидывал удочку назад. Гошка вздыхал, потому что рыбка была маленькая, снимал её с крючка и бросал на траву рядом с другими, уже затихшими рыбками.

Потом клевать перестало. Рыба ушла. Гошка положил удочку на берег, развёл на траве костерок и, когда тот прогорел, подсунил под угли рыбёшек, которых он выпотрошил и вымыл в озере. Они поели тёплых и сыроватых плотвичек с хлебом и солью. Гошка, довольный, развалился на земле, положил руки под голову и стал смотреть в небо. Небо было ярко-синее, горячий воздух словно застыл и только над озером дрожал мелкими серебряными точками.

— Гроза, видать, будет,— сказал он.— Ишь, парит. Идти надо...

Тане не хотелось уходить. Казалось, они с Гошкой одни на всём свете, и она готова была так и сидеть на берегу, есть печёных плотвичек, смотреть на Гошку и знать, что он всё умеет и ничего не боится.

Гошка ещё раз внимательно посмотрел на ясное небо.

— Может, стороной пройдёт?— неуверенно сказал он.— Ладно, давай искупаемся.

Таня купаться не стала—она не умела плавать, а Гошка быстро стянул рубашку и штаны, разбежался и бросился в воду. Он исчез под водой надолго, и Таня даже забеспокоилась, но он внезапно вынырнул, замахал руками, заплескался и снова нырнул. Гошка плавал, нырял, кричал что-то Тане, фыркал, а Таня смотрела на него и смеялась.

Гошка вылез из воды весь в мурашках и, дрожа всем телом, стал натягивать штаны и рубашку. Он поскакал сначала на одной ноге, потом на другой, чтоб вода из ушей вылилась, отжал волосы и снова лёг на нагретую солнцем землю.

— Щучье! — с усмешкой сказал он. — Скоро в море купаться буду. Кончу школу, поеду в мореходку поступать.

— А я лётчиком буду. — Тане почему-то захотелось рассказать Гошке о том, как она пролетит над его кораблём и помашет серебряным крылом.

— Тю-ю! Лётчиком? Ты? — Гошка сел и уставился на Таню. — Не смейся. Лётчиком... — Гошка покачал головой и засмеялся.

— А что? Буду лётчиком, — сказала Таня тихо и серьёзно.

— Не будешь.

— Это почему?

— По кочану, — сказал Гошка и прижался щекой к горячей земле.

Небо было по-прежнему безоблачным, но на горизонте оно затянулось дымкой. Птицы смолкли, вода не плескала у берега, и только в траве, совсем рядом, гудел шмель.

— Идти надо, гроза будет.

— Нет, ты скажи.

— В зеркало на себя посмотри, лётчица! От горшка два вершка.

Гошка говорил правду: в школе на уроке физкультуры Таня стояла в строю самая последняя и никак не могла дорасти до Ленки Салиной, которая стояла перед ней. Каждый раз она приходила на первый в году урок с надеждой, что учитель поставит её перед Ленкой, но Ленка за лето тоже вытягивалась на несколько сантиметров, и Таня, как всегда, замыкала строй.

— Рост здесь ни при чём, — сказала Таня, — в авиации не рост нужен, а смелость.

— Ой,— Гошка перевернулся на спину и заложил руки за голову,— ты у нас такая смелая!

Таня отвернулась.

Гошка посмеялся, потом встал, опять посмотрел на небо и заторопился:

— Собирайся давай, лётчица... Эх...— хохотнул он и пошёл увязывать удочки.

От обиды Таня забралась на сосну.

Ветки были нагреты солнцем и остро пахли смолой. Таня устроилась почти на самой верхушке и стала глядеть вокруг. Оказывается, Щучье было большим и даже дальнего берега его не было видно, просто они находились в небольшом его заливе. На противоположном берегу залива Таня разглядела одинокий дом, от которого уходила в лес тонкая дорожка. Отсюда, сверху, Таня посмотрела на Гошку.

— Слезай,— крикнул Гошка,— чего расселась!

Таня не отвечала. Она запела песню про лётчиков, про серебряные крылья и стала глядеть по сторонам. Там, где снизу была видна сизая дымка, оказалась большая туча. Огромная, толстая, она напознала на озеро.

— Туча! — крикнула Таня.— Большая.

Гошка забеспокоился:

— Слезай скорей, пошли!

Таня засмеялась.

— Слезай, говорю,— рассердился Гошка.

— Не слезу. Буду грозу смотреть.

— Дура, что ли?! — крикнул Гошка и покрутил пальцем у виска.

— Сам дурак.

— Чокнутая! — заорал Гошка.— Тебя молния шархнет, а я отвечай! Слезай, а то один уйду.

Таня не ответила.

Гошка плюнул в сердцах, быстро собрал удочки, схватил корзинку и не оглядываясь пошёл по направлению к дому, но тут же вернулся, со злостью бросил удочки и корзинку и сел под деревом.

Стало смеркаться, по озеру побежали маленькие сизые волны, и вода в Щучьем стала совсем свинцовой. Таня увидела, как из тучи в озеро ударила сначала одна, а за ней другая красная ломаная молния. Где-то заворчало, ухнуло, деревья закачались, и сосна, на которой сидела Таня, тоже закачалась и тяжело закрипела. Упали первые крупные капли.

Молния ударила совсем близко, раздался такой треск, что Таня крепко прижалась к сосне и зажмурила глаза. Начался ливень. Из-за дождя Таня почти ничего не видела. Ей захотелось к Гошке, и она стала спускаться по мокрым и холодным ветвям.

Гошка так и сидел под деревом, не шевелясь, под проливным дождём — удочки и корзинка валялись рядом. Таня потянула его за рукав, но он выдернул руку и отвернулся. Таня обошла Гошку с другой стороны и заглянула в лицо — Гошка снова отвернулся. Сверкнуло рядом — Таня вцепилась в Гошку. Сверкнуло ещё и многократно громыхнуло. Таня ещё сильнее прижалась к Гошке и сквозь шум ливня слышала, как Гошка её ругает.

...Таня проснулась рано. Она открыла глаза и увидела солнце. Потом слышала, как во дворе закричал петух. Она осторожно подняла голову с подушки: бабушка, одетая, дремала рядом. Почувствовав, что Таня зашевелилась, бабушка сразу проснулась, внимательно на неё посмотрела, пощупала лоб и вздохнула:

— Слава тебе господи!

Таня прикрыла глаза.

— Может, поесть чего хочешь? — склонилась над ней бабушка.

— Хочу.

Бабушка скоро принесла тарелку с горячим куриным бульоном. Она села рядом, расправила широкими ладонями юбку на коленях и стала смотреть на Таню:

— Ешь. Поправляйся, сколько ведь дней в жару... — Бабушка вытерла краешком фартука глаза. — А этому,

оторве рыжей, хоть бы что! И каждый день под окном торчит, шалопут несчастный! Вчера не сдержалась, прости меня господи: хворостину взяла да поперёк спины и огрела. Не будет ходить, сбивать девчонку.

Бабушка встала и, тяжело передвигая больные ревматизмом ноги, подошла к окну:

— Царица небесная! Стоит! Опять стоит, чумовой! Стоит, кавалер проклятый!

## МЕСТЬ

Элька надоела всем — она ябедничала.

Но может, ничего бы и не случилось, только в воскресенье ей привезли велосипед. Ребята собрались около Элькиной дачи и из-за забора смотрели, как Элькин отец доставал из сумочки, которая висела за кожаным седлом, маленькие блестящие инструменты и подкручивал блестящие гайки.

Элька с поселковыми не играет, она — дачница. Таня тоже дачница, но она даже с Гошкой Соломахиным дружит и бегает с ребятами на Новую улицу, где дома ещё только строятся и куда им ходить запрещено.

— Подумаешь,— сказал Толян,— мне мать на будущее лето гоночный купит.

— А мне «Школьник»,— сказала Таня.

Гошка промолчал: ему ничего не могли купить, потому что Гошкин отец однажды собрался и уехал из посёлка. Гошкина мать говорила, что отец поехал на Север, на заработки, но прошло уже много месяцев, а вестей от него никаких не было, и денег тоже.

...Ребята забрались в недостроенный дом.

В доме было сумрачно и прохладно. Пол уже был наполовину настлан. Они сели на краю пола, спустив

ноги. Гошка взял горстку свежих стружек и стал переминать в ладонях.

— Ещё и задаётся,— сказал Стёпка.

— Факт,— сказал Гошка и выкинул вниз в погребной сумрак горсть размятых в труху стружек.

Толян посмотрел вниз и сплюнул. Стёпка тоже плюнул, и все посмотрели на Таню. Таня плевалась плохо. Гошка плюнул дальше всех, почти до консервной банки, которую они вчера бросили в погреб. Тогда Таня пошла по той балке, где ещё не был настлан пол. Мальчишки внимательно смотрели, как она осторожно передвигается, балансируя руками и время от времени приседая, чтобы сохранить равновесие. Таня дошла до конца балки и села на неё верхом как раз напротив мальчишек.

— Ты вон по той пройди.— Толян показал на потолочную балку.

— Сам пройди.— Таня знала: пройти по верхней балке, не присев ни разу, может только Гошка.

Гошка вскочил, передвинул стремянку, обхватил балку сначала руками, потом ногами, напряжился и оказался наверху. Потом распрямился, немного покачался из стороны в сторону и быстро и уверенно пошёл на другой конец, а потом обратно.

— А я скажу! (Ребята оглянулись и в дверном проёме увидели Эльку.) По балкам бегают. Танькиной бабушке скажу! — И, не дожидаясь, пока ребята кинутся за ней, Элька помчалась по дороге: высоко откидывая назад ноги.

...В пустую железную банку, которую нашли на свалке за посёлком, налили воды. Для начала Гошка бросил в неё комок глины, Таня растёрла в ладонях кусок чёрной земли, Толян добавил тёртой древесной стружки, а Стёпка косточек от сухофруктов. Потом сбегали на старую улицу и в большой, никогда не просыхающей луже наловили пиявок. Потом у поросёнка Васьки взяли немного хряпы. Всё помешали палкой.

— Мстительная смесь,— сказал довольный Гошка и вытер руки о штаны.— Такая дрянь настоится— всю жизнь не отмоеся.

Потом он взял карандаш и стал писать записку:

«Эля! Я мечтаю сказать тебе одну вещь. Приди завтра на Новую улицу, в первый дом, который Матикайнены строят. Очень буду ждать в час дня сразу после обеда. Гоша».

На следующий день с двенадцати часов ребята засели в матикайненском доме. Гошка сидел на полу подальше от входа, Таня с «мстительной смесью» забралась на верхнюю балку над входом и прижалась к стене, чтобы её не было видно сразу, как войдёшь. Толян со Стёпкой наблюдали за дорогой.

— Смотри не промахнись!— строго сказал Гошка Тане.

— Тише вы!— Толян отбежал от двери.— Идёт!

Они со Стёпкой спрыгнули под пол и затаились.

Сердце у Тани застучало так громко, что, казалось, слышно было не только в доме, но и на улице, по которой шла Элька. Банка почему-то стала очень тяжёлой, и Таня взяла её двумя руками, чтобы не пролить чёрную густую жидкость.

Элька осторожно заглянула в дом, потом переступила порог, но дальше не пошла: так и осталась стоять, прислонившись к косяку.

— Ты... это... проходи,— сказал Гошка.

— Обойдёшься.— Элька с опаской посмотрела в дверной проём, потом на Гошку.— Говори, чего у тебя.

— Мне важное сказать надо, я орать не буду.

— А мне бабушка не разрешает к тебе близко подходить.

— Да проходи ты!— не выдержал Гошка и двинулся Эльке навстречу.

Таня поняла, что медлить нельзя, крепко обхватила коленями балку, свесилась вниз и, закрыв глаза, выплеснула всю «мстительную смесь».

— Вот так тебе,— тихо сказал Гошка.

...Солнце закрылось облаками. Ребята сидели на брёвнах и смотрели, как маленькие облака собираются в тучу. Туча была похожа на жирафа, потом у жирафа растворилась шея, ноги стали распухать, а от головы отделился тонкий дымчатый отросток — получился слон. Потом исчез и слон, и туча отплыла в сторону, открывая солнце. Снова стало жарко.

— Гляди,— сказал Толян и показал рукой на дорогу: там, где начиналась улица, быстро шли Элька, Элькина бабушка и Гошкина мать с большим прутом в руке. За ними, далеко отстав, шла Танина бабушка.

Ребята бросились врассыпную. Таня побежала за Гошкой вниз по дороге к ручью. С разбегу они кинулись в ручей и перешли его вброд. У противоположного берега Таня споткнулась, Гошка схватил её за руку и волоком вытащил на берег. Таня расцарапала колени об острые камушки на дне.

Так и не выпуская Таниной руки, Гошка забрался в кусты. Отсюда хорошо было видно другой берег ручья, на котором собрались Элька, Гошкина мать и Элькина бабушка. Гошкина мать тяжело дышала. Потом она откинула прут и погрозила кустам кулаком:

— Придёшь ещё домой! Я тебе покажу. Ты у меня узнаешь. За всё получишь, ирод. Весь в батьку,— сказала она Элькиной бабушке.— Ихняя порода, черти меня с ними связали... Только приди домой,— крикнула она в кусты,— шкуру спущу! Спущу,— сказала она Элькиной бабушке.— Не сомневайтесь. Додумались! Девке платье испортили!

Тётя Феня хотела было поднять прут и пойти через ручей, но Элькина бабушка её удержала.

Они ещё немного постояли у ручья и пошли обратно по дороге навстречу Таниной бабушке. Ребята потихоньку выбрались из кустов. Дойдя до Таниной бабушки, все остановились и стали показывать на ручей, тётя Феня ещё раз погрозила в их сторону кула-



ком, потом они пошли дальше, а Танина бабушка постояла на дороге, пораздумывала и пошла вслед за ними.

— Побьют тебя,— сказала Таня, когда все скрылись из виду.

Гошка передёрнул плечами и ничего не сказал. Они сидели на берегу ручья. Таня сняла мокрые туфли, отжала подол платья и промокнула подолом кровь на разбитых коленках. Гошка снял штаны, и они выжали их вдвоём, как женщины на реке выжимают простыни, свернув их в тугой жгут.

— А Элька отмылась,— сказала Таня.— Опять чистая.

— Надо было смолой облить,— сказал Гошка.

— Смолой обжечь можно.

— А...— махнул рукой Гошка.

Они увидели, что по дороге к ручью бежит Толян, а за ним Стёпка.

— Ну чего?— спросил запыхавшийся Стёпка.

Ручей они переходить не стали.

— Побить обещала,— сказала Таня.

Гошка ни на кого не смотрел и старательно раскладывал на берегу мокрые штаны, чтобы сохли.

— Побьёт,— уверенно сказал Толян.— Точно побьёт, прутом так махала!

— Иди ты...— сказал Гошка.

Толян замолчал.

Гошку били часто. Тётя Феня держала отцовский ремень на видном месте и гоняла Гошку по двору до тех пор, пока не задыхалась от бега и крика. Потом садилась на крыльце, плакала, и ругала всю соломахинскую породу, и жаловалась на свою разнесчастную жизнь. Маленькие Гошкины братья тоже начинали реветь, и только Гошка стоял где-нибудь в сторонке и молчал. Он никогда не плакал.

— Больше домой не пойду,— сказал Гошка.— К отцу поеду.

— Будто ты знаешь, где отец,— усмехнулся Толян.

— Знаю. На Севере. На Север и поеду. Сяду на поезд и...— Гошка свистнул.

— А деньги?— спросила Таня.

— А он зайцем,— сказал Толян.

— Ничего, доеду. До вечера здесь досижу, вечером пойду на станцию, там ночной проходит, сяду и тю-тю...

— Ага,— сказал Толян,— а там тебя батя с цветами встречает. Дурак ты!

— Сам дурак,— сказал Гошка и перевернул влажные штаны. Он не сердился на Толяна, потому что у Толяна отца и вовсе не было.

— Сходили бы в посёлок да принесли чего поесть,— сказал Гошка.— Да в дорогу бы с собой...

— Ты чего, серьёзно?— спросил Стёпка.

— А ты думал как,— сказал Гошка.— Хватит, натерпелся.

Таня осталась с Гошкой. Она сидела на корточках, время от времени отдирая от коленок мокрое платье.

Солнце стало клониться к закату, стало прохладнее, и платье не сохло. Тане почему-то вспомнилось Элькино платье, залитое «мстительной смесью». И сама Элька. Не та Элька, которая специально ездила мимо них на своём новом велосипеде, а облитая грязью, ревущая навзрыд, которую было почему-то жалко, несмотря на то что она заслужила не только, чтоб её грязью облили, а, может, даже и смолой, потому что из-за неё Гошке и всем ребятам попадает через день, потому что она, Элька, всё время подглядывает, подслушивает, вредничает и жалуется. И всё-таки, когда Таня вспоминала Эльку, залитую «мстительной смесью», ей было её жалко и почему-то нехорошо на душе.

Мальчишки притащили два помидора, солёный огурец и горбушку хлеба, ещё на огороде у Таниной хозяйки они нащипали зелёного луку.

Они рассказали, что видели Танину бабушку и что она велела Тане немедленно идти домой, видели, что Элька торчит на участке и настроение у неё, между прочим, прекрасное, а Гошкину мать не видели, она, наверное, в доме с ребятами.

Гошка отломил хлеба и засунул его за пазуху, туда же сунул огурец, один помидор он отдал Тане, а другой взял себе. Они стали есть помидоры с хлебом и прикусывать луком.

— Иди домой,— сказал Гошка Тане,— а то бабка опять расстраиваться будет.

Тане не хотелось оставлять Гошку одного. Мальчишки ушли.

Ветер гонял по небу облака. Гошка загадал: если маленькое облако соединится с большим, то он доберётся до отца и начнёт новую жизнь. Тане стало грустно: без Гошки будет скучно в посёлке; а потом стало тревожно — а ну как не найдёт отца? И где он будет ночевать? И что есть? А может, его в милицию заберут и отправят в колонию. Тётя Феня часто говорила, что колония по Гошке плачет.

Смеркалось. Гошка натянул ещё влажные штаны и стал бросать в ручей камушки. «Блинки» не получались. Таня смотрела на дорогу и первая увидела, что к ручью, очень быстро, идёт тётя Феня.

Ребята снова спрятались в кустах и затаились.

За тётей Феней, опустив голову, шёл Толян. Тётя Феня иногда оборачивалась и, видно, что-то говорила Толяну, а потом шла ещё быстрее, как будто боясь опоздать.

Она подошла к ручью, оглянулась по сторонам и спросила Толяна:

— Ну где? Может, уже ушёл?

— Не знаю,— буркнул Толян.

— Я тебе покажу, не знаю,— сказала тётя Феня и поддала Толяну.— Ну-ка, перейди ручей да посмотри, наверное, опять в кустах сидят.

— Не пойду,— сказал Толян,— холодно уже, вода холодная.— И он отпрыгнул от тёти Фени, увёртываясь от очередного подзатыльника.

Тётя Феня вздохнула, поправила ладонями растрепавшиеся волосы, а потом крикнула тоненьким голосом:

— Гонь! Гоня! Сынок!.. Молчит, ирод,— сказала она обычным голосом и упёрла руки в бока.— Вот упрямая порода!.. Гонь! Иди домой. Не трону. Чёрт с тобой. Иди, шей сварила, со шкварками, остынут... Вылезай, говорю. Некогда мне тут с тобой...

Она покричала, походила по берегу, приглядываясь к кустам, а потом с тревогой спросила Толяна:

— А может, и в правду убёг, дак ещё и с девчонкой. От беда! Гоня!— крикнула она отчаянно и стала пристально вглядываться в сумерки.

Тане почему-то опять стало жалко всех: и Эльку, и Гошку, и бабушку, и особенно тётю Феню, которая ходила по той стороне ручья. Она потянула Гошку за рукав и попросила:

— Пойдём.

Гошка отпихнул Таню и засопел.

— За что мне наказание такое, господи!— сказала тётя Феня.— А и пусть бежит,— сказала она Толяну.— Всё равно поймают. Поймают. Да в колонию посадят. А я сама просить буду, чтоб ему там мозги вправили. Потому что нет больше моего терпения.

— Ну и иди отсюда!— крикнул вдруг Гошка.— Не звал.

— Ну погоди!— Тётя Феня забежала по берегу ручья, отыскивая прут.— Я ж тебя, мерзавец, так выдеру!

— Не выдерешь!— закричал Гошка.— Я больше домой не приду!

— Напугал! Ой, смотрите!— Тётя Феня оттолкнула подвернувшегося под руку Толяна.— Ты вон девчонку отпусти, бабка места себе не находит.

Тётя Феня внезапно опустилась на землю, обхватила голову руками и заплакала:

— Мать с ним бейся, ночей не спи... А он... Уедет... А на мать плевать, что не знает продыху... одна... как белка... с зари до зари... никому дела нет...

Толян отошёл в сторону и насупившись смотрел на тётю Феню. Потом крикнул в сумерки:

— Выходите, чего вы там!

— Пошёл ты...— крикнул в ответ Гошка.

Тётя Феня поднялась, вытерла глаза и сказала устало Толяну:

— Идём. Пускай его... Тань, а ты чего?— крикнула она.— Чего ты с ним связалась? Иди домой. Бабушка волнуется, за тобой послала. Не будет ругаться, не бойся.

Они ушли.

Стало совсем темно. Упала роса, и в кустах зашвиристели ночные птицы. Таня хотела домой к бабушке, но боялась идти одна по пустой Новой улице, и ещё она хотела, чтобы Гошка тоже пошёл домой, чтобы всё было как раньше и чтобы Гошка никуда не уезжал.

— Пора,— сказал Гошка и вылез из кустов.

Ребята побродили по берегу ручья, нашли брод и по скользким камням, то и дело оступаясь в холодную воду, перебрались на другой берег.

— Проводи меня,— попросила Таня,— а то страшно.

Гошка усмехнулся и молча пошёл с Таней к посёлку. Они быстро прошли Новую мимо пустых тёмных домов, потом задами пробрались к Таниному дому. В доме горел свет. На крыльце, освещённом, потому что дверь в дом была открыта, сидели бабушка, тётя Феня и два Гошкиных брата. Все молчали.

— Бабушка!— крикнула Таня, подбежала и ткнулась лицом в тёплые бабушкины колени.

Бабушка, ничего не сказав, крепко прижала Таню к себе.

— Гонь! — тихо и жалостно позвала тётя Феня, будто наверняка знала, что Гошка здесь, рядом.— Иди, сынок, малым спать пора, да щи уже застыли, греть надо будет...

Гошка вышел в полосу света, подтянул штаны и строго посмотрел на мать.

— Иди, не трону, чего уж...



Сергей Макеев

## РАЗВЕДКА МЕСТНОСТИ

**Г**орнист протрубил сигнал отбоя, и лагерь постепенно уgomонился — тихий час.

Вскоре доска в заборе, висевшая лишь на одном гвозде, отодвинулась в сторону. В проёме показалась кудрявая любопытная голова. Повертелась налево-направо, и вслед за ней проскользнуло туловище.

Потом появилась вторая голова — стриженная, с чубчиком. Эта голова осматривалась лениво, но очень обстоятельно.

— Чего застрял, Гусев? Лезь давай! — поторопил первый беглец, Симаков.

— А зачем? — спросил Гусев.

— Надо же разведать местность!

— Тогда — конечно...

И Гусев стал протискиваться в дырку. Он был пониже Симакова ростом, но шире. Лаз оказался ему не по фигуре. Симаков стал помогать товарищу, тянуть за руку. И тотчас раздался треск разрываемой ткани — парадная рубашка была порвана на груди, рукав висел на узком лоскуте...

— Заметят, что нас нет в палате, и влетит нам! — про-

ворчал Гусев, рассматривая прорехи в рубашке и как бы намекая, что за неё тоже не похвалят.

— Не заметят,— успокоил Симаков. Порванную рубашку он в расчёт не принимал.— Сегодня первый день смены. Никто друг друга в лицо не знает. А вожатый — ты видел? — лопух настоящий. В прошлом году он работал в пятом отряде. Знаешь, как его доводили?..

Они вошли в лес и, точно по команде, глубоко вздохнули.

— Хорошо! — сказал Симаков.

— Хорошо! — сказал Гусев.

И верно, хорошо приехать в пионерский лагерь и уже в автобусе найти себе приятеля. Хорошо не спать в тихий час, а шагать по лесу. А потом, вернувшись потихоньку в лагерь, рассказать остальным ребятам о каких-нибудь невероятных приключениях!..

Лес поредел. Впереди расстилался заливной луг. Грунтовая дорога спускалась к реке. Через реку перекинулся мост. За мостом дорога шла в гору, а на горе стояла деревня.

— Это Лукошкино,— показал на неё рукой Симаков.— Мы в прошлом году ходили туда с шефским концертом. Пока девчонки на сцене кривлялись, мы с деревенскими стыкнулись. Ну-у, я тебе скажу, драчка была!

— Зачем? — удивился Гусев.

— Ты даёшь! Затем, чтоб знали, с кем имеют дело. И потом, так уж давно повелось. Если деревенские нашего поймают, тоже отлупят, будь спок!.. Ты посматривай по сторонам: как бы на них не нарваться.

Гусев пошевелил губами и беспокойно осмотрелся. У него была смешная привычка: шевелить губами, словно повторяя про себя слова собеседника.

— А этого моста тогда ещё не было,— продолжал Симаков.— Был низкий, деревянный. Над самой водой висел. Нам вожатый говорит: «Идите не в ногу, вразнобой. А то рухнет». А мы нарочно в ногу шли и топали, как на параде! И ничего — не рухнул...



Новый мост — высокий и прямой — перекинулся не только над водой, но и над низкими, топкими берегами.

Приятели дошли до середины моста, налегли на перила и свесили головы вниз. Течение реки у моста убыстрялось. Возле бетонных опор вода кружилась водоворотами и лишь потом втискивалась в пролёты моста, вздувшись, точно напрягая мышцы... Недовольный ропот реки множился под мостом гудящим эхом.

Метрах в пятидесяти вверх по реке качалась на волнах лодка. Камень на верёвке вместо якоря удерживал её на месте. В плоскодонке, спиной к мосту, сидел рыболов в широкополой шляпе размером с велосипедное колесо. Ореховое удилище лежало на борту лодки само по себе. Судя по всему, рыболов дремал.

— Эй, на баркасе! Много лягушек наловил? — крикнул Симаков и засмеялся собственной шутке.

Гусев пережевал его слова губами и тоже засмеялся.

Но рыболов не услышал: расстояние порядочное, да к тому же река, гудевшая под мостом, глушила звуки.

Они опять стали смотреть вниз.

Симаков вдруг спросил:

— А ты за сто рублей прыгнул бы с моста?

— Зачем? — тотчас отозвался Гусев.

— Ну ты даёшь! — удивился Симаков. Потом ткнул его пальцем в грудь и отдельно произнёс: — Знаешь, кто ты? Мастер идиотского вопроса! — И захохотал, согнувшись и уперев руки в колени.

Гусев по привычке пожевал губами и тоже засмеялся. Он смеялся долго, мотая головой из стороны в сторону.

А Симаков уже успокоился и смотрел на него снисходительно и даже как будто с сожалением. И почему-то подумал про Гусева: «Наверное, он смотрит тайком передачу «Спокойной ночи, малыши!». Стало досадно, что судьба свела его с Гусевым на одном сиденье в автобусе, отъезжающем в пионерский лагерь...

Оба мальчика снова смотрели под мост, как играет река. И Симаков сказал, лишь бы что-нибудь сказать:

— Ну, а за двести рублей прыгнул бы?

— Здесь мелко,— заметил Гусев.— Как раз головой в дно!

— Сказал тоже — мелко! — возразил Симаков.— Да здесь с головкой!

— Ага! Скажи ещё «с ручками»! — заупрямился Гусев.— Посмотри, дно видно.

— Это потому что вода прозрачная,— не унимался Симаков.— Даже если мелко, что ж такого? Просто надо вовремя вывернуться. Один циркач с вышки в таз с водой нырял...

— Вот и ныряй сам,— равнодушно сказал Гусев.

Симакову эти слова очень не понравились; ему захотелось высмеять Гусева, но ничего обидного не придумывалось...

А по реке тем временем плыл какой-то узкий, тёмный предмет, наполовину погружённый в воду.

— Впереди по курсу — акула! — дурным голосом закричал Симаков, довольный тем, что первым заметил что-то интересное.

Это было простое бревно, топляк, где-то оторвавшийся от плота или попросту смытый с берега во время половодья... Бревно, приближаясь к мосту, всё убыстряло ход.

— Давай камней наберём и будем по нему пуляться,— предложил Симаков.— Кто больше раз попадёт, тому два полдника достанется.

— Давай! — обрадовался Гусев и побежал подбирать гравий по обочине дороги.

Симаков же нехотя поднял пару камешков. Эту забаву он придумал специально для Гусева. И теперь, глядя, как Гусев торопливо собирает боеприпасы, Симаков опять почувствовал себя взрослым, который вовремя всунул игрушку малышу...

Когда мальчишки вернулись на прежнее место и

взглянули на реку, то увидели, что бревно вот-вот наскочит на лодку.

— Парень, атас! — закричали оба.

Но рыбак их не услышал. А ещё через мгновение бревно глухо ударилось в скулу плоскодонки. Лодка как бы встала на дыбы и легко перебросила человека через корму.

Только теперь они поняли, что в лодке сидела девчонка. Длинные волосы, упрятанные прежде под шляпу, распластались по воде. Сарафан то вздувался медузой, то опадал. Стремнина тащила девчонку под мост и вертела её, как куклу.

— Разобьёт о сваи, — прошептал Симаков и вцепился руками в поручни, словно это его река тащит под мост.

А Гусев в это время, пыхтя, перелез через перила и прыгнул вниз...

Симаков некоторое время стоял, где стоял. Он только отметил про себя, что Гусев нырнул не «солдатиком», а «топориком» — вниз головой... Потом страх сменился жадным любопытством, и Симаков перебежал на другую сторону моста, перегнулся через перила.

Там барахтались в воде Гусев и девчонка. Кажется, оба невредимые. Гусев старался выгребать к берегу, а девчонка без толку молотила руками.

Симаков обрадовался и быстро сбежал на берег. Он мчался вровень с плывущими и кричал:

— Гусев, Гусев! За волосы её тащи!.. Если будет за руки хвататься, оглуши её по голове! А то оба потонете!

Гусев расслышал совет и схватил девчонку за волосы. Тут барахтанье усилилось, и Симаков не мог уже разглядеть, что происходит за фонтанами брызг. Когда же эта буря улеглась, оказалось, что девчонка стоит на мелководье и вода доходит ей лишь до пояса.

Гусев, неожиданно потеряв свою «утопленницу», стал крутить головой и... тоже встал на ноги.

А девчонка подбоченилась, откинула голову назад, как петух перед атакой, и заорала:

— Ты что, дурак?! За волосы хватаешься! Вот и платье порвал... У-у, психический! — Она пошла к берегу.

Гусев пожевал, по обыкновению, губами и пошлёпал следом. Вид у него был виноватый.

— Чего это у тебя? — спросил Симаков, показывая на лоб.

— О дно задел. Мелко всё-таки, — ответил Гусев, едва притрагиваясь к ссадинам.

Девчонка выжимала подол платья. Мальчишки смотрели на неё с недоумением: зачем она это делает, если всё платье остаётся мокрым?

— Ну, мы пошли? — робко спросил её Гусев.

— Идите-идите, — откликнулась она. — Вас, между прочим, и не звал никто!

Приятели повернулись к дороге.

— Эй! — вдруг позвала девчонка.

Оба оглянулись.

— Вот ты, ты... — Она не знала, как позвать того, кто был ей нужен. — Ты, который мокрый. Поди-ка сюда.

Гусев вернулся и опасливо спросил:

— Чего тебе, ну?

— А ты смелый, — тихонько сказала девчонка. — С этого моста у нас никто не прыгал!

— Ха! — сказал Гусев и махнул рукой, как бы говоря, что с моста он прыгает каждое утро вместо физзарядки. Но вслух не сказал, а повернулся и пошёл.

— Эй! — опять позвала девчонка и показала рукой на деревню. — Я в Лукошкине живу. Вон в том доме с красной крышей...

Гусев кивнул головой: понял. И больше уже не оглядывался.

— Что она тебе сказала? — спросил Симаков, когда они отошли далеко.

— Так, ничего, — буркнул Гусев. Говорить не хотелось.

Некоторое время шли молча.

Потом Симаков иронически осмотрел Гусева и хмыкнул:

— Ну и видок у тебя! Нипочём не скажешь, что ты человека спас. А спасал ты её здоровски: за волосы! На мелком месте!.. Хорошо ещё, что она тебя не отлупила!

Гусев молчал.

— Слушай,— продолжал Симаков,— а может, тебе за это медаль полагается? Давай пойдём к начальнику лагеря и всё расскажем: так, мол, и так...

— А зачем?

— Как зачем? Медаль дадут.

— Не надо,— сказал Гусев.— Не надо никому говорить.

— Вот и правильно! — облегчённо вздохнул Симаков и хлопнул приятеля по плечу.— Хочешь анекдот? Значит, так: плывут по реке три с половиной крокодила...

...Они сдержали слово. И даже между собой никогда не вспоминали этот случай.

## ДРУЖОК

**В**ладик мечтал иметь сенбернара.

Чтобы, например, Владик покори́л бы вершину Эверест. Но снежная лавина, предположим, отрезала бы ему путь назад. И тогда его четвероногий друг, сенбернар по кличке Рекс, доставил бы ему пищу и термос с горячим какао... И потом, когда Владик уже спустится в лагерь альпинистов, он скажет обступившим его журналистам: «Своей жизнью я обязан Рексу!..»

И одна девочка из его класса прочтёт эти мужественные строки и подумает: «Ах, я тоже хотела бы стать верным другом Владика!»

Ещё Владик мечтал об овчарке.

Чтобы, допустим, ограбили ювелирный магазин. И тогда Владик, гулявший неподалёку от места про-

исшествия с овчаркой по кличке Кинг, пустился бы преследовать матёрого преступника. Настигнутый грабитель, конечно, замахнётся на Владика какой-нибудь там золотой вазой. Но четвероногий друг Кинг схватит злодейскую руку... И потом, давая интервью журналистам (лучше бы перед телекамерой), Владик скажет: «Это мой друг Кинг спас меня от верной гибели!»

Не отказался бы Владик и от сибирской лайки.

Чтобы сильная такая была и смелая. По кличке Белый Клык. И вот Владик запряжёт её в нарты и помчится по заснеженной тундре. Вокруг ледяное безмолвие. А в небе северное сияние. И вдруг Белый Клык останавливается и скребёт сугроб лапами. А там — золотые самородки! Или, ещё лучше, алмазная трубка из земли торчит!.. Из зимовья геологов Владик передаст по радио: «Прошу назвать месторождение алмазов именем моего четвероногого друга...»

И одна девочка услышит эти слова в эфире и подумает: «О, как это благородно! Ну почему я не позволила Владиду нести свой портфель?!»

Ещё Владик мечтал о тибетском терьере, о московской сторожевой, об афганской гончей, и так далее, и так далее...

Мечты, мечты!.. И почему это вы так редко сбываетесь? Да потому, что у других людей, даже самых близких, есть другие стремления. И вот уже нашим мечтам начинают подрезать крылышки.

Папа Владика, например, вообще не хотел собаку. Он подозревал, что именно ему придётся выгуливать собаку по утрам. А днём отпрашиваться с работы, чтобы возить пса в специальную собачью школу.

Мама была не против. Но... породистая собака — это так хлопотно! Ей требуется отменное питание и порядочное воспитание. И наконец, породистый щенок стоил больших денег!

Бабушка относилась с симпатией к любым собакам. Но не к щенкам! Щенки, как известно, делают лужи на

паркету и грызут обувь. А уборка квартиры закреплена за ней, за бабушкой...

В общем, как это часто бывает в жизни, все думали по-разному, хотя и об одном очень простом существе — собаке. И когда собрался семейный совет и все высказали свои мысли вслух, то было много споров, огорчений и даже слёз (плакал Владик). И так они спорили, огорчались и даже плакали, пока не придумали компромисс. А надо вам сказать, что компромисс — это такое решение, с которым все спорщики хоть и без горячего одобрения, но соглашаются.

Компромисс вот какой: завести обыкновенную, беспородную собаку. Дворянскую то есть. И уже взрослую, чтобы без луж на паркете и так далее. И на обычном питании, как у людей.

Такую собаку папа с Владиком купили в воскресенье на Птичьем рынке за три рубля. Как и договорились, без родословной. Даже без ошейника. Ошейник и поводок одновременно ей заменяла бельевая верёвка.

Пёсик оказался даже симпатичным. Ростом с лайку, с мордой утюжком, напоминающей овчарку, с длинной рыже-белой шерстью, как у сенбернара. Только хвост баранкой был ни с чем не сравнимый. Такие хвосты бывают у одних лишь дворян!

В тот же вечер всей семьёй думали, как назвать пса. Горделивые имена Рекс, Кинг и Белый Клык не годились, поскольку пёс не соответствовал им ни статью, ни нравом. Думали-думали и ничего лучшего не придумали, чем ласковое, деревенское даже, имя Дружок.

Как это ни странно, Владик привязался к Дружку скорее, чем все полагали. Правда, геройских поступков мальчик от дворянщины не ожидал. Тем не менее зимой он запрягал Дружка в санки, и тот безропотно катал Владика по двору. И однажды, когда местный хулиган Грошев украл у Владика велосипед, Дружок быстро взял след и привёл к дверям похитителя... Конечно,

двор — не тундра, а велосипед — не алмазы. И всё же приятно было Владику, что пёс у него такой сильный и сообразительный.

И мальчик, между прочим, приучился вставать пораньше, чтобы погулять с Дружком до начала занятий. И в магазин иногда заглядывал: а вдруг там кости от окорока остались? Дружок их очень любит...

Теперь Владика совсем не огорчало, что у Дружка не подрезаны уши и висят как два лопуха; что хвост не подрублен, а лихо закручен кренделем. Мальчик обнаружил в своём Дружке иные стати, о которых почему-то не пишут в книжках по собаководству. Например, прекрасные карие глаза, порой невыразимо печальные, а иногда весёлые, с озорной искоркой. Или выражение морды (так и хочется сказать — лица!), которое всё время меняется, когда Дружок доволен, или обижен, или просит... Иной раз учит Владик стихотворение и повторяет его вслух:

*Под голубыми небесами  
Великолепными коврами,  
Блестя на солнце, снег лежит...*

А Дружок слушает и начинает тоненько так поскуливать от удовольствия. Точно так же он повизгивает, когда его за ухом чешут или по животу гладят...

Наступило лето, и семья переехала на дачу. Дружок там несколько приосанился: как-никак дачу охранять приходилось! Это ведь всякого прохожего облаять надо, чтобы и без таблички ясно стало — во дворе злая собака!

Но если хозяева отворяли калитку незнакомцу, Дружок тут же начинал крутить хвостом и стыдливо отворачиваться: дескать, ошибка вышла, извините...

А ещё он сопровождал Владика, когда мальчик на велосипеде катался или так просто пешком гулял.

Однажды пронёсся слух, что в окрестностях дачного посёлка объявилась бешеная собака. Говорили, страш-



ная она, как собака Баскервильей. И детям запретили выходить за ворота посёлка.

В ближайшее воскресенье все мужчины пошли прочёсывать лес. Они вооружились вилами, лопатами и шампурами для шашлыка. Только у одного дачника было ружьё. Где-то в лесу действительно увидели собаку. А какая она — бешеная или нет, — не разобрали. Тот, у кого было ружьё, пальнул в неё, да, видно, промазал, потому что собака убежала. Хотя стрелок бил себя в грудь и кричал: «Честное слово, попал! Она за смертью своей побежала!»

После этого случая все успокоились. Пospели ягоды, и дети со взрослыми, а потом и сами стали ходить в лес, в поле и на речку.

Как-то раз под вечер Владик с Дружком отправились погулять. Неподадёку от посёлка они нашли ягоды — на пригорке созрело с десятков земляничин. Владик сорвал травинку и стал нанизывать на неё ягоды, как бусинки. Он знал, что, если мама, папа и бабушка положат в свои чайные чашки хоть по три ягодки, чай получится очень вкусный. И мальчик поэтому радовался. А Дружок радовался потому, что Владик был доволен.

И тут из леса выбежала чужая собака. Собака как собака. Только глаза у неё были пустые, словно у каменной статуи. И воды она боялась: бросалась к лужам, как будто очень хотела пить, — и тут же шарахалась в сторону.

— Вот глупая псина — она пугается своего отражения! — сказал Владик своему Дружку, думая, что он посмеётся (Дружок, между прочим, умел здорово смеяться).

Но Дружок не засмеялся. Шерсть у него на загривке встала торчком; он зарычал глухо и непрерывно, точно внутри у него заработал мотоциклетный мотор. Владик очень удивился, что Дружок такой сердитый.

А чужая собака увидела спутников на дороге и оскалилась.

На чёрных её губах закипала белая пена. Глаза стали наливаться кровью и сделались красными, как у кролика.

И тогда Владик всё понял. Но он растерялся и не знал, что ему делать. Пальцы разжались, травинка, унизанная бусинками ягод, упала, рассыпались под ногами земляничины...

Бешеная собака бросилась на мальчика. Но Дружок выскочил вперёд и грудью опрокинул бешеную. Собаки сцепились. Они крутились так быстро, что нельзя было разобрать, где чьи лапы, хвосты, морды. Владик слышал только ужасное клцанье челюстей. На миг бешеная собака отбросила Дружка и скакнула к Владиду. Мальчик так сильно закричал, что его услышали в посёлке. Он не знал в точности, укусила его собака или нет, потому что руки-ноги у него были как не свои. А в следующее мгновение Дружок снова вцепился во врага...

Голова у Владика закружилась. Колени дрогнули, и он упал. Сок раздавленных ягод, забрызгавший ноги, показался ему кровью...

Владик пришёл в себя уже дома, на даче. У постели были мама, папа и бабушка. Владик не мог говорить, потому что сорвал голос, когда звал на помощь. Он думал, что теперь заболит бешенством и умрёт мучительной смертью.

Но тут папа, догадавшись, о чём думает сын, сказал:

— Дружок спас тебя...

— Где он? — прошептал Владик.

Ему не ответили.

...С тех пор прошло несколько лет. Владик стал уже совсем большим мальчиком. Он, между прочим, носит портфель за одной девочкой из своего класса. Но когда он видит на улице дворнягу, он останавливается и зовёт: «Дружок! Дружок!»

Тот не отзывается...

# АКИ-ЗАДАВАКИ

**В** одной школе, на одном этаже, в одном школьном коридоре жили-были первые классы: первый «А» и первый «Б». И называли они друг друга, как во всех школах повелось, аки и бэки.

Классы аков и бэков рядом находились, через стенку. И были аки и бэки во всём так похожи, что когда выходили из своих классов, то совершенно смешивались. И нельзя было разобрать — где аки, а где бэки.

Но вот весной, в конце учебного года, аки стали что-то слишком задаваться. Выходят в коридор и давай хвастаться перед бэками:

— А у нас по чтению шесть пятёрок за один только урок!

Бэки плечами пожимают: что ж тут такого? У них у самих сегодня восемь пятёрок по чтению...

Тогда аки на другой переменке говорят:

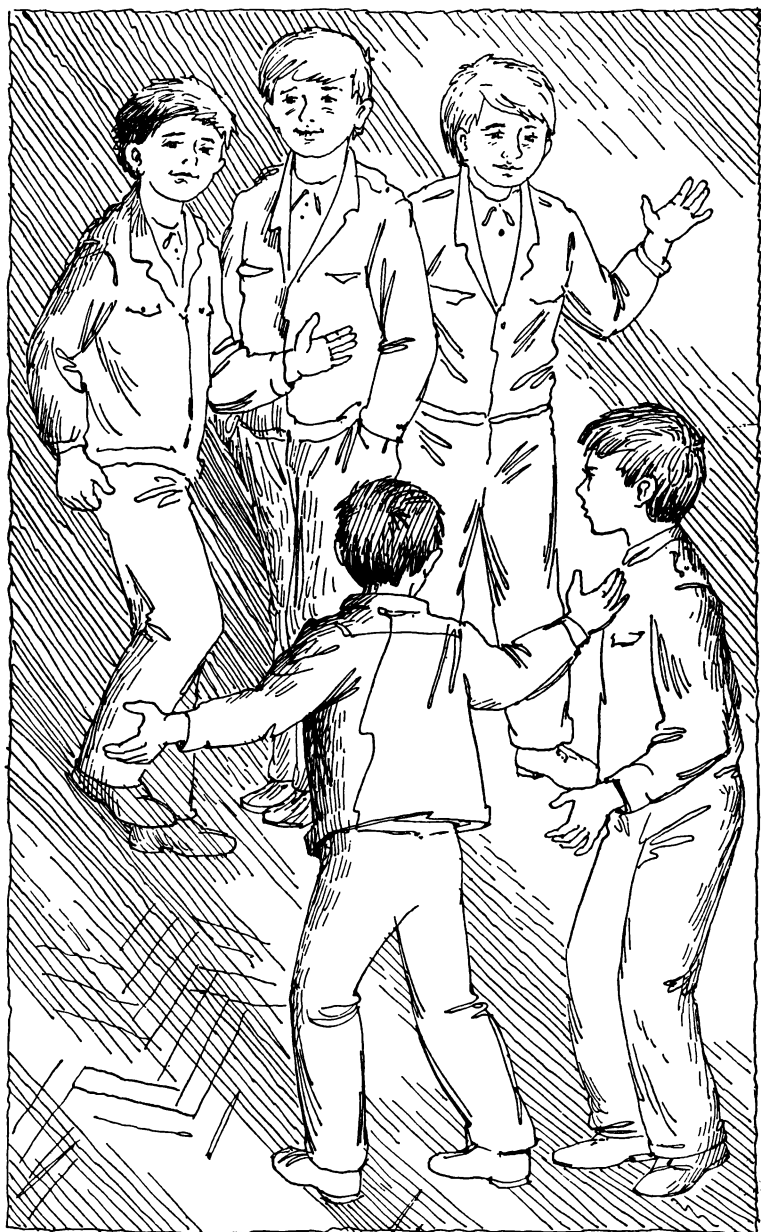
— А в нашем классе силач есть, Медведев его фамилия. Он одной левой поднимает три портфеля!

Опять бэков не проймёшь: у них в первом «Б» учится Илья Белкин, так он своих младших братьев-близнецов на руках в ясли таскает. У него от этого мускулы — во!

Но аки не унимаются.

— А зато мы,— говорят,— сами свой класс убираем. Вот!

Молчат бэки, не хотят хвастать. А ведь могли бы рассказать, что не только свой класс убирают, но и весь коридор моют раз в неделю, по субботам. Что заклеили все порванные книжки в школьной библиотеке. Что каждый октябрёнок-бэк вырастил и принёс в школу комнатное растение. Что... Да мало ли что ещё делает взрослый человек — первоклассник! Всего не расскажешь, верно?



Только аки, видно, совсем голову потеряли.

— А мы... А у нас,— кричат.— У нас девочки самые красивые! Ага, съели?

— Чего-чего?— не стерпели бэки.— У вас, значит, самые, а у нас, выходит, не самые?!

И начали бэки рукава засучивать. Ну, и аки, конечно, тоже.

Девочки — аковки и бэковки — стоят за мальчишскими спинами и не знают, что им делать?.. Пока думали, аки и бэки сцепились, потасовка началась. И тузили они друг дружку, покуда дежурные-старшеклассники не разняли их...

Учительницы младших классов наказать решили всех.

Девочки-аковки говорят своей учительнице:

— А мы тут ни при чём. Мальчишки сами драку затеяли!

Вот и оказались в стороне.

А девочки-бэковки по-другому своей учительнице сказали:

— Нас тоже накажите, пожалуйста. Мальчики за нас вступились. Из-за нас драться стали...

Бэки смотрят на своих девочек и думают:

«Вот вруны эти аки! Это у нас самые красивые девочки. Лучше не бывает!»

## ГОЛУБИНАЯ ВЕРНОСТЬ

**К**огда я был маленьким, многие жители нашего городка держали голубей. Дома тогда ещё отапливались печками, и в каждом дворе теснились деревянные сарайчики с поленницами дров на зиму. На односкатных крышах сараев удобно было строить голубятни. Чаще всего ставили домик наподобие собачьей конуры, но с оконцем, забранном металлической сет-

кой. Иногда голубятни делали сплошь из такой сетки. Тогда можно было снаружи наблюдать за голубями, как за рыбками в аквариуме. А некоторые голубятники выстраивали для своих питомцев настоящие дворцы! Помню, на крыше одного сарая громоздился средневековый замок из фанеры, с башнями и бойницами.

Голубями у нас увлекались и взрослые и ребяташки. Любо-дорого было посмотреть, как они поднимают свои стаи в небо! Одни подгоняли ленивых птиц особым посвистом. Другие крутили над головой длинным шестом с флажком, привязанным на верхушке. И голубиные стаи, словно по мановению этой «волшебной палочки», начинали описывать круги над крышей...

Летом, в предзакатный час, когда взрослые возвращались с работы, небом нашего городка завладевали птицы. Казалось, их крылья навевают лёгкий ветерок, и поэтому на землю нисходит вечерняя прохлада.

Да, голубей у нас любили. Видно, так повелось исстари. Ведь даже над входом в соборную церковь был изображён голубь в золотом ободке, как бы призывающий прихожан к «голубиной кротости»...

На крыше нашего сарая тоже была голубятня. Её построил ещё до войны мой отец. Но с фронта он не вернулся... Голуби его постепенно одичали. Кормить их было нечем, и они сами искали себе пропитание в окрестных лесах и полях. Потом они приспособились к дикой жизни, или же их сманили другие голубятники, у которых оставался корм...

Я этого, конечно, не помню, потому что был слишком мал, и рассказываю со слов моей мамы.

Отцовская голубятня долго пустовала. Но однажды к нам приехал в гости фронтовой товарищ отца. Он знал, что папа был страстным голубятником. И решил, наверное, что и я пойду в отца. Вот и привёз мне в подарок пару великолепных почтовых голубей!

Голуби были молодые и скоро привыкли ко мне. Я назвал их именами любимых сказочных героев: Кай и

Герда. Когда рано утром я входил в голубятню, они вспархивали мне на плечи. И я шагал в школу, украшенный такими пышными «эполетами». А на школьном дворе, стоило мне лишь слегка повести плечами, Кай и Герда взлетали и возвращались домой.

Товарищ моего отца утверждал: «Увези их хоть на край света, они всё равно вернутся!»

Край света был тогда для меня в деревне, у бабушки, куда меня отправляли на лето. Я брал с собой Кая и Герду и посылал с ними весточки маме...

Я любил своих почтарей. Точно так же, как любил других животных — кошек и собак, ежей и белок; они не переводились у нас дома. А вот настоящего голубятника из меня не получалось. Настоящие голубятники умели пронзительно свистеть в четыре пальца; мальчишки-голубятники на переменках только и говорили что о замечательных лётных качествах своих птиц; и, наконец, настоящему голубятнику не давали покоя чужие голуби. Полюбившихся птиц покупали, выменивали, а случалось, что и уводили.

Всеми качествами истинного голубятника, в особенности последним, обладал мой одноклассник Вениамин Вожжин, а попросту Веник. Беда, если Венику приглянется чужой голубь! Он умел мастерски подманить и увести не только одного, но и целую стаю голубей.

Обычно он подкрадывался к чужой голубятне и прятался неподалёку. За пазухой у него был специально натренированный голубь-перехватчик. Веник ждал, когда хозяин выпустит свою стаю. Вот тогда-то он и подкидывал вверх своего «штурмовика». А сам бросался наутёк, иначе быть бы ему битым по строгим законам голубятников... В это время его голубок врезался в чужую стаю и производил в ней полный беспорядок. Стая, привыкшая к однообразному кружению, сразу признавала в нём вожака. Перехватчик летел к дому, а стая тянулась за ним. Их с нетерпением поджидал Веник, отворив дверцу своей голубятни...

И этот самый Веник стал сохнуть по моим почтарям.

Когда он увидел их впервые на школьном дворе, у него вдруг подскочила температура, и учительница отправила его с урока домой.

Через несколько дней на перемене он отозвал меня в сторонку и предложил за мою пару всю свою стаю. Я отказался. Тогда он прибавил ещё и знаменитого своего голубя-перехватчика. Я ответил, что не отдам Кая и Герду ни за что на свете.

Веник нехорошо усмехнулся и сказал: «Не отдашь — возьму сам!» — и ушёл. С этих пор сердце моё обмирало всякий раз, когда Веник прогуливал уроки: а вдруг в это самое время он уводит моих почтарей?

Да, так оно и было. И не раз!

Сначала Веник напустил на Кая и Герду своего голубя-перехватчика. Но мои почтари не обратили на него никакого внимания. Пролетели мимо, словно это был воробей какой-нибудь! Потом я узнал от других голубятников, что Венькин «штурмовик» не вынес такого позора, стал хиреть и вскоре сдох.

Тогда Веник решил выманить моих голубей из голубятни. Забраться на крышу открыто он не мог: соседи заметили бы. Он сделал вот что: нанизал на длинные нитки кукурузные зёрна и забросил на крышу. Надо сказать, что кукурузные зёрна — лакомство для голубей. И мои почтари клюнули на такую приманку — выбрались из голубятни на крышу. Веник подождал, пока оба голубя склюют зёрна и приманка окажется у них в желудке. А потом стал потихоньку тянуть за нитки, как рыболов выбирает леску с пойманной рыбёшкой. Кай и Герда против своей воли слетели на землю, проследовали за угол, где и были схвачены.

Но Веник торжествовал недолго. Стоило ему выпустить Кая и Герду из заточения, как они стремглав прилетели ко мне.

Стояли жаркие майские дни, когда Веник увёл их вторично. Крыша сарая раскалилась от зноя, и голуби



мои изнывали от жажды. Напоить их было некому, потому что я был в школе, а мама на работе. Этим и воспользовался Веник. У него было с собой две железные кружки: одна с водой, другая пустая. Стоя за углом, он начал переливать воду из кружки в кружку. Журчание воды привлекло внимание моих простачков. Они спустились вниз, попрыгали за угол, а там уж Веник накрыл их своим пиджаком...

Но правду говорят: насильно мил не будешь! Уж к вечеру Кай с Гердой снова были у меня.

Пускался Веник и на другие хитрости, но почтари оставались верны мне, своему хозяину...

Наконец Веник решился на отчаянный поступок. Похитив моих голубей в очередной раз, он подрезал им крылья. Чтобы они не улетели домой. Он надеялся, что голуби всё-таки привыкнут к нему, а за это время и оперенье на крыльях снова отрастёт...

Ничего не подозревая, я возвращался из школы. И вдруг увидел на улице странную процессию. По мостовой вереницей медленно-медленно ехали автомобили и телеги. На тротуарах толпились люди. Все смотрели на мальчика, который шёл посреди дороги. Подле его ног подпрыгивали два живых комочка.

Это шли домой мои голуби, Кай и Герда. Время от времени они по привычке взмахивали крыльями, но взлететь не могли. И они снова шли.

За ними плёлся Веник и плакал. Плакал оттого, что понял: он пытался похитить то, что нельзя ни купить, ни украсть,— любовь и верность.



Борис Минаев

## УРОК МУЖЕСТВА

*Рассказ пятиклассника*

**В**о вторник у нас должен был быть «Урок мужества». Обычно на этот урок к нам приходили солдаты из воинской части. Солдаты нам нравились, они были высокие, стройные, с прямыми, широкими плечами и множеством значков. Мы им всегда задавали интересные вопросы об оружии и международном положении и ещё о боевом каратэ и машинах.

На этот раз к нам должен был прийти ветеран: Серёжкин дедушка.

Серёжка ничего нам не рассказывал до этого о нём. Просто мы откуда-то знали, что у него есть дед. Ветераны к нам в школу приходили вообще-то часто, по всяким праздникам. Они были старенькие, с морщинами, лысые или седые, говорили, с трудом произнося слова, и смотрели на нас странными, слезящимися глазами из-под насупленных бровей. Мне всегда казалось, что у

них у всех почему-то становится плохое настроение, когда они приходят к нам в школу. Даже очень плохое. Они мне казались строгими, и я совсем не представлял их себе в гимнастёрках, с автоматами, идущими в атаку или в землянках, у печурки. А они рассказывали о своих геройских делах — и я думал про себя: наверное, каждый человек смог бы так, на то она и война, чтобы совершать подвиги, без этого там нельзя.

Серёжка в тот день очень волновался. Старался виду не показывать и выдавал себя ещё больше, что-то изображал из себя всё время. Но было видно, что он волнуется.

А уроки шли своим чередом.

На первом было природоведение. Я смотрел на голубя, перебиравшего лапками по жестяному карнизу, и думал: «Вот это и есть природа». Голубь был толстый, ленивый, но красивого цвета: рыжий.

Потом на литературе мы рассказывали басню Крылова. И тоже в голову лезли всякие посторонние мысли: почему басни обязательно пишут про животных, про насекомых и всяких рыб, неужели это так обязательно, необходимо?

У меня болела рука, и на физкультуре я просто сидел на лавочке и смотрел, как ребята бегают, играют в баскет, прыгают через «козла», это было весело и интересно.

Но вот наконец наступил пятый урок. Сначала мы просто ждали и тихонько шумели, сидя за партами. Вообще мне нравится, когда мы вот так сидим просто и ничего не делаем, как-то чувствуешь себя в своей тарелке, что ли: кругом все такие знакомые-презнакомые и шум такой тихий, успокаивающий. А я люблю такой шум.

Но потом Вера Николаевна привела под руку Серёжкиного деда, усадила его, объявила, как ведущий на концерте, что сегодня у нас в гостях такой-то ветеран, тихонько пошла и села на заднюю парту.

Серёжкин дед сидел перед нами и молчал... Сначала мы думали, что так и надо. Но он молчал и сопел, и больше ничего. Так продолжалось довольно долго. Потом все стали оборачиваться назад, туда, где сидела Вера Николаевна и Серёжка. Серёжка смотрел в парту и очень сильно краснел, у него по щекам даже струились капельки пота. А Вера бледнела, потом встала и несмело пошла к своему столу.

— Иван Иванович? — сказала она вопросительно.

Но глаза у Серёжкиного деда были по-прежнему прикрыты, красные от мороза руки по-прежнему неподвижно лежали на зелёной промокательной бумаге, которой Вера покрывала свой стол, чтобы не запачкать чернилами. И вообще всё было точно так же, как минуту, и две, и три назад.

— Ребята! — сказала Вера, — Иван Ивановичу надо немножко отдохнуть, он неважно себя чувствует, займитесь пока своими делами, пожалуйста...

Но мы не слушали её, мы смотрели на ветерана, на Серёжкиного деда. И на Серёжку.

Вера Николаевна подошла к деду с одной стороны и стала что-то говорить ему на ухо, большая, толстая, с огромной причёской на голове. Серёжка стоял с другой и дёргал деда за руку, маленький, злой и насупленный.

— А может, он умер? — сказал кто-то тихо, но почему-то все его услышали.

Ленка, всегда трусившая и поднимавшая панику по любому поводу, вдруг тоже тихонько, но очень слышно завизжала и заскулила:

— Ой, ой, мамочка, ой, ой, мамочка!

Пошёл дождь.

Вера Николаевна зачем-то подошла к стене и включила свет, а Серёжка в это время вдруг оглянулся на нас и... заплакал.

Он кричал в голос и дёргал деда за руку. Потом он побежал к Саньке Лапшову, тому, кто спросил, а не умер ли дед, и со всей силы начал трясти его.



Санька больно стукнулся об мою голову — я как раз сидел сзади и наклонился вперёд, чтобы лучше видеть.

Серёжка хватал его за пиджак и тряс, а лицо у него было страшное.

Мы с Колькой еле вывели его из класса.

Когда мы вернулись, всё уже было в порядке.

Шёл урок мужества. Иван Иванович рассказывал о своей солдатской жизни, о том, за что ему дали орден Красного Знамени: он подорвал фашистский танк гранатой, а потом ещё долго стрелял из пулемёта по фашистам, пока не кончились патроны.

А молчал он просто потому, что очень заволновался.

Я слушал его и думал о Серёжке, который стоял в туалете, плакал, пил воду и лил её себе на голову. С ним остался Колька.

Вера Николаевна сидела бледная...

Потом зазвенел звонок, и мы пошли все вместе провожать Иван Иваныча. Ехали в троллейбусе две остановки. Девчонки молча стояли возле него и тихонько разговаривали о чём-то.

Дождь перестал, но уже стемнело. Рядом с нами охали какие-то бабки и тётки и с удивлением посматривали на нас.

Серёжка стоял на задней площадке рядом с виноватой Верой и глядел в окно.

Вот такой у нас получился урок мужества. Наверное, Серёжкин дед уже очень старый и, может быть, не надо было его приглашать. А может быть, надо. Я не знаю.



## Владимир Морозов

### ВЕЧНАЯ ЛЫЖНЯ

**К**огда-то поляна была распахана. Лесники сажали здесь картошку. Потом поляну забросили, и она стала зарастать кустами.

Был конец сентября. Ивовые кусты на поляне почти облетели, и отдельные оставшиеся листья трепыхались на ветру, словно последние флаги.

Я шёл через поляну и вдруг словно запнулся. Посреди неё росли маленькие ёлочки. Совсем малышки, года два, три от силы, не больше.

Ёлочки на заброшенных полях не диковинка. Разбросанные то там, то тут, они ёжиками темнеют в тусклой зелени осенней травы.

Но эти ёлочки росли кучками. Кучки двумя широкими полосами тянулись через поляну, пересекая её наискосок. Казалось, что здесь кто-то прошёл на широких охотничьих лыжах. Только вместо вдавленного снега топорщились щёткой еловые ростки.

Целый день я бродил по лесу и мыслями непременно возвращался к той поляне. По дороге домой, с полной корзиной зеленоватых рыжиков, я снова вышел на неё:

Вечером, в косых солнечных лучах, еловые рядки ещё больше напоминали лыжный след. Я прошёл вдоль полосок до края поляны и вдруг вспомнил.

Ну конечно же! Ведь именно здесь, по этому самому месту, проходила моя лыжня!

Тогда, три года назад, я ходил по ней через день, проверяя капканы. Ещё вспомнились ясный февральский полдень и коричневатые парашютики семян на снегу. Ветер гнал семена по уплотнившемуся снегу, набивал в лыжню. Лыжня от семян была бурой.

Так вот и получилось, что стала моя лыжня вечной.

## ПЕРЕНОВА

**В**ечером стих ветер. К полуночи в разрывах туч появились холодные звёзды. Заскрипел снег под ногами прохожих.

Утро встало удивительно ясное. Ночной морозец подсушил воздух и каждый предмет: будь то самая маленькая веточка дерева в саду или телефонные провода — всё одел в пушистые чехлы инея.

Солнца не было видно за высокими перистыми облаками. Оно словно бы растворилось в этой туманной пелене, отчего светился весь небосвод.

И так нереален был этот не дающий тени и скрадывающий расстояния свет, так призрачны были эти мохнатые деревья, что казалось, будто смотришь по ошибке чей-то счастливый сон.

Вдруг словно распахнулась дверь.

Погасли облака, всё вокруг обрело размеры. С дальней автострады донеслось гроыхание грузовиков. Где-то лаяли собаки и пел репродуктор.

Сверкая в солнечном луче, парил над землёй тончайший снежный прах и тихо опускался на чистый снег.

Из терема заснеженных ветвей ели выпорхнули две



синички и долго обследовали ветви старой яблони, сыпля искристыми иголками.

К полудню с западной стороны потянуло сыростью. Ниже опустились сразу вдруг посеревшие тучи. Медленно кружась, полетели первые крупные снежинки. Потускнел снег, слился с таким же белёсым небом.

Всё гуще шёл снег, всё напористей становился ветер. Он клочьями сдирал с деревьев остатки утреннего убранства, гремел печными заслонками и жалобно подвывал в трубах.

Долго будет кружить метелица: засыплет канавы, навьёт сугробы над кустами и заборами. Заметёт метелица все старые следы, зато появятся свежие — утренние. Редок след после метели, но и короткий. Обязательно приведёт к дневному убежищу зверя.

Недаром каждый снег для охотника-натуралиста праздник, имя которому — перенова.

## О ЧЁМ РАССКАЗАЛИ СЛЕДЫ

**З**имой в лесу интересно!

Куда бы ни шёл лесной житель, на снегу за ним остаётся строчка следов. Пройди по ней, и тебе, может быть, откроется тайна леса.

Я расскажу историю, которую прочитал по следам сегодня на охоте.

Слушай.

Жил да был заяц.

Какой? А самый обыкновенный: ни плохой и ни хороший, как и все зайцы на свете. Правда, молодой и потому глупый.

Жил заяц на берегу лесной речки, где росли осинки и ивы. Каждую ночь выходил он к речке и обгладывал тонкие ивовые прутья.

Но однажды захотелось длинноухому зелёной травки. Так захотелось, что он тут же возле кустов разгрёб снег до самой земли и начал эту травку искать.

Зубрит заяц травку, из ямки только хвостик.

Эх, знал бы заяц, что давно уже наблюдает за ним рыжая лиса! Знал бы — выскочил, и остались бы разбойнице только следочки на снегу. Но ничего не знал заяц, и потому всё так же весело подрагивал в ямке куцый заячий хвост.

А нужно сказать, что лиса была довольно-таки пожилая. Много на своём веку съела она разной живности. Так много, что зубы притупились. Хорошо знала лиса, как нужно обращаться с молодыми глупыми зайцами.

Пока прыгал заяц между кустами и веточки скусывал, лежала лисица тихо-тихо под елью. Но как только начал заяц копать травку, уж даром времени не теряла.

Сначала между кустами, а затем берегом речки подкралась она к неосмотрительному зайчишке. Подкралась, схватила и утащила в тёмный, глухой овраг. Сюда даже днём солнце не заглядывает.

И остались только заячья ямка — покопка, клочок белой шерсти да синие следы на голубом утреннем снегу.

Э! Да ты чего вдруг загрустил? Зайца жалко? Верно, жалко. А ты и лисят пожалей.

## ЛЕСНАЯ ЁЛКА

**П**од Новый год мы с сыном отправились в лес выбирать ёлку.

Если кто думает, что это дело простое: пришёл, топором махнул и вся недолга, — глубоко ошибается. Тут ведь как. Надо и себя не обидеть, ёлку красивее выбрать, и лесу не навредить.

Самые красивые ёлки растут на полянах, опушках и вырубках. Веточка к веточке, глаз не оторвать. Но на вырубках ёлки лесу самому нужны.

Лес может обойтись без ёлок, что в чаще растут. Но там не сыщешь пушистую. У тех ёлок ветка за веткой по стволу гонится, догнать не может. Ёлки те хоть и прямые, но уж очень неприглядные. Насквозь светятся.

Всё же мы нашли что хотели. Правда, наша ёлка только с одной стороны оказалась пушистой. С другой — у неё сучьев почти что и не было. Но мы всё равно взяли.

Думаем, голым боком к стенке поставим, в самый раз будет!

Пока ёлку искали, сынишка всё следы на снегу разглядывал. А я ему рассказывал, что это за следы такие. Какой зверь ходил и чем занимался.

Домой пошли, а он вдруг спрашивает:

— Пап, а мне Дед Мороз подарки принесёт?

— А как же, обязательно,— отвечаю,— это уж как водится.

— А ты, пап, откуда знаешь?— улыбается он.

— Да уж знаю,— вывернулся я.— Чай, не первый год живу на белом свете!

— Пап, а в лес-то Новый год приходит?— не понимает сынишка.

— А куда ж ему деться,— отвечаю уверенно.— Обязательно приходит.

— И подарки зверям Дед Мороз приносит?

Ничего я не ответил. Буркнул под нос, что ёлка тяжёлая и чтобы он ко мне с глупыми вопросами не приставал. Ёлка-то и вправду была тяжеловата, хоть и однобокая.

Но сынишка беспокойный, весь в меня. После ужина, когда установили ёлку, он опять со своими зверями.

— Пап, а давай мы с тобой Дедами Морозами будем!

— Ладно,— говорю,— давай!

Назвался груздем, полезай в кузов. Наутро отправились мы в лес. Понесли подарки зверям.

В лесу ёлку устраивать — не для дома рубить. Можно любую присмотреть. Мы выбрали большую царицу-ель на поляне. Стали устраивать угощение.

Сынишка старается. А как же: его задумка, ему и делать. С одной стороны ёлки развесил по веткам морковки, капустные кочерыжки и хлебные корочки. Это для зайцев. Там же несколько орехов пристроил. Это для белок.

С другой стороны, чтоб зайцам и белкам не мешали, для лисиц, куниц и хорьков с горностаями разных косточек прицепил. Рядом с косточками две жареные куриные ножки и кусочки сала. Для красоты ножки в серебряную фольгу завернул.

Повыше, в ветках, это уж я помог, прицепили кормушку для птиц. Насыпали туда семечек, положили кусочек торта и две шоколадные конфеты.

Ёлка получилась что надо. Шли мы домой, и сынишка всё представлял, как обрадуются звери, развесятся, увидав богатые подарки. Как наедятся и начнут плясать и песни петь. Зайцы с белками на своей, кочерыжечной, а лисы с куницами на своей, костяной, сторонах.

Сынишка был весел, и я раньше времени его не разочаровывал.

Первого января был выходной, и мы, конечно же, отправились в лес. Проверить, пришлись ли по вкусу наши подарки.

Подходим к ёлке и ещё издали видим: кочерыжки с морковками и косточки с орехами висят нетронутые. Рядом с косточками сало белеет, качается на ниточках. Огорчился сынишка: неужели ничего не тронули звери, неужели не пришлись по вкусу наши подарки?

Подошли ближе, видим: всё-таки кто-то побывал здесь. Кормушка пустая, сало разлохмачено, фольга на куриных ножках порвана.



Мы давай следы смотреть. Определять, кто тут гостевал.

Ходили-ходили, смотрели-смотрели — нет следов. Вообще-то следы, конечно, есть: и заячьи, и лисьи, и горностаевы. Но всё в стороне от ёлки.

Заяц к кочерыжкам и близко не подошёл. Потоптался, потоптался, в сторону отпрыгнул и две горькие осиновые ветки иззубрил. Рядом куст полыни нашёл. Сгрыз сухие верхушки.

Лиса тоже к ёлке не подошла. Долго лежала на опушке — в снегу глубокая ямка, — а потом прыжками бросилась к зайцу. На куриные ножки даже не взглянула. Ладно ещё, заяц её вовремя приметил, успел ускользнуть. А то был бы лиске новогодний подарочек!

Горностаю больше повезло. Птицы выростили из кормушки конфету. Её нашла лесная мышь. Тут-то и накрыл её горностаёй. Лишь красное пятнышко на снегу осталось.

Совсем пригорюнился сынишка. Не желают звери принимать угощение.

Я его немного успокоил. Предложил подождать в сторонке, понаблюдать. Ведь сало-то кто-то растрепал, и обёртка на куриных ножках порвана. Да и кормушка пустая.

Долго ждать не пришлось. Первыми прилетели две синички-гаички и сразу к салу. Прицепились к кусочкам, висят вниз головой. Сало клюют и качаются.

Повеселел сынишка. Хоть синицам угодил. Тут тебе и столовая, и аттракцион одновременно. И еда, и качели.

За синицами прилетел поползень. Также стал сало трепать. За ним два снегиря. По кормушке попрыгали, постучали по фанерке толстыми носами и улетели.

Только собрались уходить — дятел прилетел. Этот не стал на сало размениваться, а сразу к куриной ножке прицепился. Как примется долбить, фольга клочьями полетела!

Вижу, совсем приободрился мой парнишка.

— Понял ли? — спрашиваю.

— Понял,— говорит.

— А что понял-то?

— А то,— отвечает,— что заяц кочерыжки вовсе и не ест. А лиса жареной курятине свежую зайчатину предпочитает.

— Может, ещё что-нибудь понял? — спрашиваю.

— Ещё понял, что птицы есть хотят.

— Правильно понял,— говорю.— Вот и давай кормушки устраивать. Им ведь каждый день кушать хочется, а не только под Новый год.

— Давай! — обрадовался сынишка.

На следующий день мы пошли и развесили в лесу полдюжину кормушек. А кусочков сала, так, наверное, все сто. Сынишка стал каждое воскресенье обходить кормушки. Подсыпать свежего корма.

Зайцам тоже устроили угощение. Подвалили в лесу осину. Стригите ветки, длинноухие, раз уж так любите горьконькое!

А лису с горностаем решили не подкармливать. Пусть лучше мышей ловят.

Всё колхозу подмога.

## РЯБЧИКИ

**В** лесу ветер не чувствовался, и потому казалось значительно теплее, чем в поле. Проминая пухлый снег широкими охотничьими лыжами, я неторопливо шёл по старой лесовозной дороге.

Она словно стрелой пронзала хмурый ельник и, лениво огибая топкую пойму ручья, выходила на простор давней вырубки.

Когда-то здесь стоял сухой и светлый сосновый бор. Но люди свели бор и вывезли ровные сосновые стволы.

Постепенно земля оправилась. Трухой рассыпались источенные насекомыми пни и обрубленные вершинки. Трава затянула раны после тракторных гусениц.

Да и лес неустанно работал.

Оставленные на вырубке сосны-семенники бросали семена. Они прорастали, впивались корнями в материнское тело земли. Пили благодатные соки, росли, тянулись вверх к теплу и свету.

Прошло два десятка лет, и старая вырубка превратилась в рединку с высокими пушистыми молодыми сосенками. Летом на ней высыпали боровые рыжики, маслята и пятнами встречалась брусника.

Светлая сосновая рединка среди хмурых замшелых ельников привлекала лесных обитателей.

Осенью здесь кормились тетерева и тяжёлые глухари, а лоси устраивали свои турниры. Зимой вся она была испещрена путаницей заячьих следов — маликов. Круглый год по краю тёмного леса вдоль ручья жили рябчики.

Вот и сейчас я шёл проверить, как там они себя чувствуют. Ради них я встал пораньше и ещё затемно пробежал поля, отделяющие посёлок от большого леса.

Зимой проще всего узнать, где живут рябчики, по снежным лункам — ночлежкам. Каждая ночлежка имеет две лунки — два отверстия. Полуосыпавшийся вход — когда птица падает в снег с высокой ветви, и выход. Он с ясными отпечатками полукруглых крыльев. В этих обтаявших берложках и пережидают рябчики долгую и страшную зимнюю ночь.

Хоть и давно уже брожу я в лесах по лесниковским и охотничьим делам, однако не довелось видеть, как вылетают рябчики из своего ночного убежища. Ради этого и пошёл в лес. И взял с собой не старую, проверенную во многих странствиях по лесным дебрям двустволку, а фотоаппарат.

Я представлял, как выйду к рединке, отыщу лунки и из-под ног, в фонтанах сыпучего снега, по одному, по



два разом будут выпархивать рябчики. Как разлетятся они, рассядутся, успокоятся и начнут пересвистываться из полумрака густых еловых ветвей. А в воздухе долго ещё будет кружиться, искрясь острыми гранями, розоватая снежная пыль.

И такой праздник был на душе, что хотелось петь. Я и мурлыкал про себя какую-то песенку.

Только на утренник я опоздал.

До меня здесь побывала куница. По следам я узнал, как она долго петляла лесом, осматривая поляны, и наконец с разбегу выскочила на самую середину рябчиного ночлега.

Следы рассказали, как металась она от лунки к лунке и как, заполошно молотя крыльями, улетали невредимые рябчики.

Так и остались мы с носом.

Я без фотографий, а куница без завтрака.

## НАСТ

**В** заснеженном лесу без лыж плохо. Да и на лыжах тоже не сахар. Снег глубокий, рыхлый — проваливаются лыжи, цепляются носками за сучья и ветки. Пока продерёшься сквозь кустарник, не один пот сойдёт.

То ли дело по насту.

Наст бывает в марте. Когда зима с весной сходятся и вместе правят. Днём солнце греет что есть мочи, снег плавит — весна. Ночью морозец приступает, самый что ни на есть зимний. Схватывает мокрый снег прочной толстой коркой.

Этот плотный снег и есть наст.

Весело бежать по звонкому насту.

Хрусть, хрусть, хрусть — отзывается под каблуком.

Не нужны тяжёлые лыжи. Ступаешь как летом, даже ещё лучше.

Ни грязи тебе, ни кочек болотных. Трава в ногах не путается. Всё под снегом: и болота, и кочкарник, и бурелом-валежник. А сверху наст вроде паркета. Да такой прочный, что даже громадный лось не проваливается.

Отправляйся куда хочешь, но к обеду старайся всё-таки поближе к дороге оказаться.

Иначе худо дело.

Раскиснет снежная корка под горячими солнечными лучами, тут уж и шагу не ступишь. Впору плыть в глубоком снежном месиве.

Никакие лыжи не помогут.

Пользуются особенностями весеннего снега охотники и лесники. Рано утром уходят они всяк по своим делам. Охотники на поиск глухариных токовищ, лесники осмотреть, обойти дальние леса. Днём сидят они у костра и пьют ароматный смородиновый чай, загорают. Ночью, по морозцу, обратно домой приходят.

## КАК РАСТУТ СОСУЛЬКИ

**М**арт не зря называют непостоянным.

Днём пригреет солнце. Лужи на дорогах блестят, ручьи журчат, переливаются, взахлёб тараторит капель.

Ночью прихватит морозец. Скуёт лужи, перевьёт канатом ручей, наморозит сосульки.

Так вот ходишь, не замечаешь, а однажды утром увидишь водосточную трубу, обвешанную дымчатыми сосульками, и удивишься: «Как же так получилось?»

А вот как.

В полдень на солнцепёке жарко. Хоть загорай. Бежит, торопится капель, льются горячие слёзы зимы.

К вечеру холодает.

Растопит косой солнечный луч снежинку, превратит её в каплю. Катится капля по крыше и остывает. С крыши на сосульку и по сосулке вниз. Скатится на самый сосулькин нос, только бы оторваться и тукнуть в податливый снег, да не тут-то было.

Пока скатывалась — остыла, а лишь хотела оторваться — совсем замёрзла.

Так растут сосульки в длину.

Ниже опускается солнце, слабее греют его лучи. Всё ленивее бегут капли. Всё выше замерзают они. Всё дальше и дальше от сосулькиного носа.

Так растут сосульки в толщину.

Потому они в бугорках-натёках. Каждый бугорок — замёрзшая, затаившаяся на время, живая и весёлая капелюшка.

Ночь заледенит капельные звоны, схватит снег насом. Откроются дороги в самые дальние и глухие углы.

Утро встанет в морозной дымке. Но чуть пригреет, как снова начинает лопотать капель, снова начинают расти сосульки.

Только теперь уже наоборот. Сначала в толщину, потом в длину. А ближе к обеду и плакать начинают.

Так всю сосулькину жизнь. Утром и вечером растёт-толстеет, а в полдень плачет-худеет.

Чем длиннее дни, горячее солнце, тем дольше плачет капелью сосулька. Сильнее худеет, истончается.

Пока вся не исплается.



## Сергей Носиков

### ЧУГУНКИ

— **Н**ет, мам... Не пойду я сегодня собирать.

Севка Тимкин перестал обуваться, тихо отбросил к печке ещё не разношенные лапоточки, которые в прошлое воскресенье сплёл себе на остаток зимы.

— Что с тобой, сынок? — спросила его мать, высокая худая женщина с сильно поседевшими висками. — Разлился, что ль, аль обидел кто?

— Да что ты, ма, «разлился»... Хоть и далековато деревня от деревни, но дело-то не трудное от дома к дому ходить, и в обиду я себя не дам. А всё одно не пойду боле, не могу.

Дарья Дмитриевна — так звали Севкину мать — всплеснула руками и села напротив сына.

— Так у нас-то, милый, ни хлеба, ни картошки. Чем кормиться-то будем? — Она вытерла концом фартука выкатившиеся из глаз слёзы. — А пойдёшь собирать, хоть из десятка в одной избе кусок картофельного пирога дадут — и то ладно. Позавчера-то, гляди-ко, принёс почти полную торбу. Али плохо?

Севка встал, повесил на шесток онучи.

— Стыдно мне, мамань,—тихо сказал он, направляясь по холодному полу к окну,—стыдно просить у таких же, как мы. Ведь и они последнюю картошку доедают, последнюю щепоть муки берегут. Вон в тот раз... Одна тётчка отрезает от пирога лусту, а сама глядит на девчонку и плачет... Каково мне, мам, брать-то, коли они сами голодные? За что они должны кормить меня?

Дарья Дмитриевна подошла к Севке, прижала его русую головку к своей груди, всхлипывая, постояла и, ни слова не сказав, направилась в сени.

Больше они в это утро не говорили друг другу ни слова. Дарья Дмитриевна понимала, что сын прав, и не могла настаивать, чтобы он с торбой нищего опять отправлялся просить по деревням подаяния. Севка знал, что с каждым днём матери становится всё труднее прокормить себя и его. И ждать помощи ей не от кого. В разрушенной войной деревне в каждой избе голод и холод. О восстановлении колхоза только ещё слух прошёл.

Севка машинально глянул на оклеенную довоенными газетами ободранную перегородку. Там висел в простенькой рамочке небольшой портрет отца — молодого кудрявого мужчины в солдатской гимнастёрке. Из-за портрета выглядывал запылённый конец бумажного свёрточка. Это была «похоронка», полученная прошлым летом. Пулемётчик Максим Назарович Тимкин погиб под Кёнигсбергом.

Рано утром в хату одинокой сеньковской старушки постучали. Она открыла тяжёлую дверь. На широком, изъеденном падающими с крыши каплями камне стоял худенький белобрысый подросток с холщовой торбой. «Опять нищий»,— грустно подумала старушка и вошла в хату, не закрывая за собой двери. Нищий направился следом. Он переступил порог и, прихлопнув скрипучую дверь, остановился.



— Откуль будешь-то? — спросила его старушка.  
— Из Борка, бабушка, — ответил подросток.  
— Ну, это недалече... А звать-то как?  
— Севкой, — сказал нищий и добавил: — Севка Тимкин.

Старушка откинула занавеску с настенного ящика с двумя широкими полками, достала из-под перевёрнутой глиняной миски серую лепёшку и протянула её Севке.

— На́ вот... господь с тобой. Боле ничего нет, не обессудь.

— Спасибо и на этом, бабушка. — Севка опустил голову, чтобы не соблазниться запахом хлеба. — Только не возьму я...

Старушка аж остолбенела от удивления. Первый раз в жизни она слышала такое.

— Не возьмёшь? — как бы не веря услышанному, спросила она.

— Не-а, не возьму... спасибо.

— А пошто же ты тогда пришёл, с торбой-то?

Севка помолчал, оглядывая тёмную хату. Потом вдруг нерешительно спросил:

— Бабушка, а у вас есть чугунки?

— Да откуль они, милый... вона два валяются за печкой, только дна ни у того, ни у другого нетути.

— А давайте я деревянное дно в каждый вставлю, — предложил Севка. — У нас все так делают и варят потом что надо.

Через некоторое время Севка уже ширкал в сенях пилой, отрезая от берёзового полешка круглые колёсики. Не прошло и полчаса, как он внёс в хату один чугунок, подал его старушке:

— Наливайте, бабушка, воду в него, а я пока другой сделаю.

Когда же был готов и этот, из первого не вытекло ни капли воды.

— Ты гляди,—удивилась старушка,— как новые!.. Ну,—спросила потом она,— а чем же я с тобой расплачиваться буду?

— Теперь вот возьму... Тот кусок лепёшки... И боле ничего не надо.

В Сенькове в этот день Севка подшил одной женщине валенки, починил многодетной вдове деревянные санки, на которых она дрова из лесу возила, насадил одnorукому партизану-инвалиду топор, подплёл двое поистрепавшихся лапоточков таким же, как он, подросткам. В двух хатах Севку покормили. Домой он возвращался хоть и сильно усталый, но весёлый и довольный тем, что в торбе нёс не просто так выпрошенное подавание, а заработанный хлеб.

## ПЯТЁРКА ПО НЕМЕЦКОМУ

**Н**а уроке немецкого языка учительница Ксения Даниловна опять спросила Нюрку Сидоркину последней. Она часто так делала, чтобы показать другим ученикам: смотрите, мол, как надо отвечать.

Нюрка быстро прочитала и перевела текст из учебника, ответила на вопросы «Во вонен зи? (Где вы живёте?), Вохин ду геен ин ди шуле?» (Куда ты ходишь в школу?), «Во арбайтен ди муттер? (Где работает твоя мать?)». Учительница с нескрываемым удовольствием поставила Нюрке Сидоркиной пятёрку в журнал. И тут же прозвенел звонок на перемену. Уходя из класса, Ксения Даниловна, словно между прочим, сказала Нюрке:

— Ты очень хорошо понимаешь немецкий язык — годы оккупации не прошли даром. Тебе уже мало учебника. Хорошо бы почитать какие-нибудь другие тексты.



Этот совет Нюрка вспомнила на следующий день, когда писала домашнее задание по немецкому. «Почитать какие-нибудь другие тексты»,—мысленно повторяла она.— А какие? Где их взять? Учебник и тот один на десятерых».

И вдруг Сидоркина вспомнила себя второклассницей. Тогда не только книг не хватало, но и писать было не на чем. С осени набрали кое-какой бумаги, пошили самодельные тетради, а через месяц они кончились. Попробовали заменить бумагу берёстой. Тетради из неё получались, только чернила на листах не держались.

Как-то по деревне прошёл слух: Ганка Медведиха в Германию поехала... за бумагой. Вся деревня радовалась этому, хотя никто ещё не знал, с чем вернётся Ганка. Верили, зная её лихой характер, пустая не придет, привезёт бумаги. И она ровно через неделю действительно привезла два туго набитых мешка. Когда их вытряхнули в школе, на полу оказалась огромная куча каких-то книг без обложек, брошюр, отдельных листов.

— Ты что же, медведь тебя дери?! — гнусаво завопил дед Гринька.— Это ш библиотека гитрелская!

— Ну и что! — смело отбила его нападки Ганка.— Всё лучше, чем берёста...

Этот архив какой-то немецкой канцелярии Ганка Медведиха привезла из Восточной Пруссии, почти из-под самого Кёнигсберга. Дети сами пошили себе тетради из печатной фашистской продукции и до самого конца 1946 года писали в них жидкими фиолетовыми чернилами.

Припомнив давнишнюю историю, Нюрка Сидоркина полезла на потолок, надеясь найти хоть одну самодельную тетрадь второклассницы. Она перекидывала с места на место сухие берёзовые веники, собранные связками, как баранки, кольца лыка, старые лапти, отрепья... Но нигде не было и клочка бумаги. Отряхи-

вая с себя пыль, Нюрка уже собралась было слезать с потолка, как увидала заткнутую за стропила жёлтую бумажную трубочку. Она осторожно развернула её и сразу узнала свою тетрадь по чистописанию. Чернила в ней почти совсем выцвели, а печатный текст был отчётлив и чист.

Сидоркина слезла с потолка, села в хате у запотевшего окна, стала читать по-немецки и тут же переводить текст:

— «Директива Гитлера группе армий «Б» об отступлении и проведении разрушений при отступлении.

Подготовка и проведение эвакуации, разрушений при эвакуации поручается главнокомандующему. Его приказы обязательны для всех.

Я придаю особое значение следующему:

Все полезные сооружения должны разрушаться.

Все шоссейные и железные дороги должны быть без остатка разрушены.

К разрушению относится уничтожение деревень и минирование местности...»

После этих слов у Нюрки перед глазами замелькало пламя пожара, объявшее её родную деревеньку. Стараясь заглушить всплывающие в памяти стоны и крики, она продолжала вслух читать и переводить:

— «...После нас русские должны получить совершенно не годную на долгое время, незаселённую пустынную землю...»

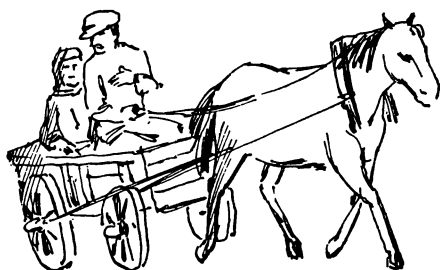
Дальше Нюрка читать не смогла. У неё затряслись губы, и тетрадь выпала из рук.

Вытерев кулачком слёзы, Сидоркина подняла её и пригляделась к ровным полувыцветшим строчкам своего текста, написанного поверх гитлеровской директивы. Слово за словом Нюрка стала читать:

— «Велика и могуча наша необъятная Отчизна! Она сильна братской дружбой всех социалистических республик. Она сильна любовью народной к своей земле,

которую жгли и опустошали немецко-фашистские захватчики. Но земля наша продолжает цвести, шуметь лесами и колоситься хлебами...»

Нюрка услышала за окном скрип колёс. Она протёрла ладошкой запотевшее стекло. По дороге ехали на телеге, нагруженной мешками, дед Гринька и Ганка Медведиха. «На мельницу зерно повезли»,— подумала Нюрка и улыбнулась.



Анатолий Остроухов

## РОДИЛСЯ ТЕЛЁНОК

**С**коро Милка должна была отелиться, поэтому в стадо её не выгоняли. Тёплыми вечерами, когда один край неба окрашивался в тревожно-малиновый цвет, деревенское стадо медленно проходило по мягкой и пыльной дороге.

Непривычно чувствовали себя Наташка с Витей. Живя у бабушки на каникулах, они привыкли встречать Милку, возвращающуюся из стада. Едва завидев стадо, они выбегали к самой дороге и ждали свою Милку. Корова степенно проходила через ворота, медленно шла по двору и, остановившись, шумно пила воду из ведра, принесённого дедушкой. Выпив воду, подняв голову, Милка спокойно и выжидательно смотрела на ребят. Похлопывая ладошками по крутым тёплым бокам коровы, Наташка и Витя провожали её до повети. Милка тянула голову к их рукам: не принесли они ей корочку хлебушка или ещё чего-нибудь вкусного?

Потом приходила бабушка, приносила с собой маленькую скамейку и садилась доить корову. Первые

струйки звонко ударяли в дно ведра. Потом они становились тише и уже с шипением вонзались в воздушную шапку молочной пены. Когда бабушка заканчивала доить Милку, на дворе было уже темно, с низкого неба свисали крупные гроздья созвездий.

Парное молоко пахло луговыми травами, прожаренным летним воздухом. Дети помогали бабушке разливать молоко по махоткам, процеживать его через марлю, относить махотки в погреб. Потом всей семьёй садились ужинать, запивая варёную картошку тёплым парным молоком.

А сейчас Милку не доили, не выгоняли в стадо. Весь день она стояла во дворе, почти всё время в хлеву, и лишь изредка, ближе к вечеру, тяжело выходила в пристроенный к хлеву загон. Траву для неё косил дедушка, каждое утро ставил под поветь большую кошёлку.

За молоком они ходили к тёте Насте, трёхлитровую банку молока несли по очереди — Наташка и Витя. И всё гадали: когда же Милка принесёт телёнка? Днём они часто приходили к корове и смотрели — не началось ли? Было интересно посмотреть: а как всё-таки рождаются телята. Но ведь так часто бывает: когда какое-нибудь событие с нетерпением ждёшь, оно приходит совсем неожиданно.

Витя с ребятами играл на лугу в футбол. И тут примчалась Наташка.

— Бежим скорее, — крикнула она, — Милка телится!

Витя бросил игру и кинулся за сестрой.

Ворвавшись во двор, запыхавшиеся, они остановились около хлева. В дверях, спиной к ним, стоял дедушка. Когда они подошли к нему и попытались заглянуть в хлев, дедушка обернулся к ним и сердито спросил:

— Вы куда? А ну-ка, идите в избу!

Ребятишки растерялись:

— Мы посмотреть хотели.

В хлеву тяжело дышала Милка.

— Здесь нельзя смотреть,— ответил дедушка.

Ребята поплелись в избу, залезли на холодную печь и обиженно замолчали. Внизу суежилась бабушка: кипятила на газовой плите воду в большом тазу, стелила солому в углу избы—там был приготовлен загончик для телёнка. Потом она ушла к корове.

Наташка не усидела на печке, спустилась вниз и шмыгнула во двор. Через несколько томительных минут она распахнула дверь и крикнула:

— Отелилась Милка! Сейчас его языком лижет!— и снова скрылась.

Витя лежал на печке и сердился на дедушку. Ведь как они ждали этого дня! А дедушка... «Не буду теперь с ним за травой ходить,— с обидой думал он,— пусть теперь знает, как в хлев не пускать».

Наташка опять отворила дверь и сообщила:

— Сейчас в избу принесут!

Вошёл дедушка, неся на руках испуганного, слабо сопротивляющегося телёнка. Телёнок был рыженький, мокрый, шёрстка его курчавилась.

— Вить, иди посмотри какой!— позвал дедушка.

Но Витя не стал спускаться, хотя и очень хотелось, и, забившись на печи в угол, оттуда смотрел на возню внизу.

Телёнок лежал на соломе такой маленький, такой смешной, что Витя едва сдерживался, чтобы не подойти к нему. Он всё ещё сердился на дедушку.

К вечеру шёрстка у телёнка высохла. Он встал, покачиваясь, словно под ветром, на копытца. Бабушка налила ему молока в миску. Телёнок не пил. Тогда она потыкала его мордочкой в молоко. Телёнок, причмокивая и постукивая ножкой о пол, начал пить. Когда телёнок выпил молоко и поднял мордочку от миски, Наташка, сидя на лавке, и Витя, лёжа на печи, звонко рассмеялись,— такая она у него была уморительная, вся перепачканная молоком.

Когда в избе никого не осталось (бабушка с



Наташкой ушли на огород, а дедушка пошёл за водой к колодцу), Витя слез с печи. Он подошёл к загончику, залез в него и присел перед телёнком, прижавшимся к стене. Осторожно погладил его по мягкой шёрстке.

— Эх ты, глупый,— сказал Витя,— ну чего ты дрожишь? Не бойся, ты наш. Мы теперь тебя будем кормить. Ведь ты же пока ничего не умеешь и не понимаешь.

Неожиданно телёнок потянулся к Вите и, обдав тёплым дыханием, нежно ткнулся мокрой мордочкой в его лицо. Витя вздрогнул от испуга и откинул голову назад. Голова телёнка тоже испуганно отпрянула. Оба они удивлённо смотрели друг другу в глаза. Потом Витя осторожно погладил его по шее, приобнял и легонько притиснул к себе. И телёнок доверчиво прильнул к нему.





Роман Федичев

## ВОСЬМОЙ ПРИЧАЛ

**П**од новогодние праздники за Дениской приехал отец.

— Ну, одевайся, сына, поехали!

Не успел Дениска соскочить с кровати и сунуть ноги в мягкие чуни, как отец привычно завернул его в широкополую лисью шубу, подхватил на руки и по скрипучим ступенькам вынес на улицу. Пока он разгребал запорошённое снегом сено и укладывал Дениску на санях, конь Яшка похрапывал, звенел уздечкой и косился на большие окна двухэтажного интерната: на Причале таких больших окон он не видел.

— А дневник-то не забыл? — спросил отец с хитринкой, понятной только одному Дениске: это был их особый с отцом язык.

— Не-е, не забыл,— прогудел он из-под тяжело навалившейся шубы.

Отец отвязал вожжи, но из подъезда выбежала воспитательница Елена Витальевна, взмахнула рукой, закричала:

— Обождите! Не уезжайте! Вы же подарок забыли!

Придерживая на плече накинутое пальто, она осталась у порога, не зная, что делать: в лёгких тапочках ей никак нельзя было идти по глубокому снегу. Отец шагнул навстречу воспитательнице, выставил руку, но подарков было много, конфеты посыпались в снег.

— Да что вы! Хватит с нас,— бормотал он, прижимая к груди кулёк и собирая конфеты.

— Нет-нет, возьмите. И ещё вот, пускай друзей угостит.

— Ну, спасибо!..

Отец через рукав шубы пропихнул Дениске подарок, и мальчик успел заметить, что воспитательница всё ещё стояла в подъезде и почему-то не уходила, ожидая, когда отец приготовится в дорогу, словно хотела проводить его.

— Балуют тебя здешние...— по-доброму проворчал он.— Так и привыкнешь.

— Не-е, не балуют,— опять прогудел Дениска.— Филипком дразнят.

— За что же так?

— Говорят, самый маленький из первоклашек. А я, пап, Мишку из третьего класса на лопатки положил. А Саньку из второго—так целых два раза,— не удержался, похвастал Дениска.

— Вот видишь! Какой же ты Филипок? Ты егерёнок...

Усевшись поудобнее, отец спиной прижался к Дениске и, даже не взглянув на интернат, где всё ещё чего-то ждала воспитательница, тронул коня. Яшка взял крупной рысью и, бросая застывший снег прямо в сани, долго бежал без передышки, шарахаясь от высоких домов и многолюдья.

— Одичал, совсем одичал,— сдерживал отец коня.— Вишь, как отвык...

Дениска прижимал подарок к груди и глубоко

дышал, стараясь побыстрее согреть его. Как жаль, что сегодня он не сможет угостить близняшек Миненковых конфетами из своего первого школьного подарка! И Света и Алька уехали с Причала ещё летом, перед школой.

К отъезду готовились все: Дениска, близняшки Миненковы, сам дядя Женя, отец, но особенно весела и тороплива была мама, потому что дядя Женя обещал устроить отца на работу в каком-то крупном порту, где он теперь работал. Однако в самый последний момент, когда чемоданы были упакованы и мама подала отцу молоток, мол, пора забивать окна, отец обхватил голову руками, закрыл глаза и не взял молоток. Дениска помнил, как тихо стало в комнате, как не выдержал отец и коротко сказал, что никуда не поедет, что останется здесь, на Причале. Мама замерла, лицо её вдруг стало неподвижным, бесцветным. Она всё поняла, ничего не ответила, вышла, и Дениска услышал, как там, в другой комнате, она вдруг заплакала навзрыд. Ведь ей так хотелось уехать с Причала, она так ждала переезда.

Из разговоров Дениска знал, что они не всегда жили здесь, на Причале, что когда-то давно, когда он был совсем маленький и ничего не помнил, отец ходил по Охотскому морю. Но получалось смешно: ходил по морю. Ведь это только по дороге или по тайге можно ходить.

— Пап, а-а, пап,— высовывая из-под шубы нос и слизывая с губ длинный лисий мех, позвал Дениска,— а ты ходил по морю?

— Ходил. Только не по морю, а в море надо говорить.

— Это давным-давно было?

— Мы тогда в Магадане жили и ты засыпал в коляске, прямо у моря...

— Ну а всё ж таки как ты ходил?

— На теплоходе... Ты не раскрывайся, а то простудишься. Ох и задаст нам тогда мамка!

Дениска послушно натянул на себя шубу, притих.

Недавно Миненковы прислали письмо, опять звали папу на работу, и он снова не согласился. Вечером они из-за этого поругались с мамой, и в этот раз она не смолчала, зачем-то повторила: «Списали тебя, подчистую списали! Забыл?» Дениске и это было непонятно: как это списали? Ведь только задачку можно списать, как делает это Мишка из третьего класса.

Мальчик опять выкопался из шубы, позвал:

- Пап, а-а, пап, тебя списали?
- Списали, сына, теперь вчистую списали.
- Это когда ты в море ходил?
- Нет, сына, уже здесь, на Реке...

И ему стало приятно, что отец не назвал реку по имени, как она была обозначена на карте. Дениска понимал, почему их причал назывался восьмым — он был выше седьмого по течению. Сколько их, поди сочитай, а вот их Река на все причалы одна-единственная: других Дениска не видел, поэтому не верил, что они есть в самом деле.

- Пап, а как это списали?
- Это значит, сына, что в море ходить нельзя.
- А по Реке?
- И по Реке нельзя.
- Почему? — удивился Дениска.
- Докторам я не нравлюсь, не любят они меня...

Дениска не верил докторам. Он знал, что дядя Женя Миненков, бывший папкин капитан на большом корабле, очень любит его, а дружба между моряками — это серьезно и по-настоящему. Ведь не случайно каждое лето он приезжает к ним на Восьмой причал и перед отъездом уговаривает отца поехать с ними. Этим летом Миненковы гостили у них всей семьёй, снова обещали помочь с переездом, а когда отец опять не согласился, дядя Женя почему-то обнял его и сказал, что не зря, выходит, получил он когда-то за этот причал «строгача» с предупреждением. Дениска знал, что есть

такое наказание для взрослых, ему объяснила мама, и раньше, когда отца ещё не списали, тоже любила вспоминать о нём. Почему-то всем было смешно пересказывать, как однажды на изгибе Реки, у высокого берега, где сейчас привязывают лодки, отец приказал причалить и теплоход простоял там почти до вечера, на целые сутки нарушив расписание. Потом отец вернулся и за отпуск построил здесь дачу потому что этот берег ему очень понравился. Но этим летом, перед тем как Дениске пойти в школу, мама снова ругала и отца, и дачу, потому что никуда отсюда он уезжать не собирался, лишь обещал.

— Пап, а, пап,— опять не утерпел Дениска,— а наш дом— это дача?

— Нет, сына, теперь не дача, теперь это наш дом.

— А дядя Женья приедет к нам?

— Ну конечно, приедет!

— И Светка с Алькой?

— И они тоже...

— Пап, а дядя Женья с ружьём приедет?

— Зачем с ружьём? У нас теперь целых два...

Дениска совсем забыл, что на новой работе отцу выдали винтовку. Ох и обрадуется дядя Женья! Ведь он же не знает ещё, что у папки теперь новая работа— он охраняет тайгу.

Дениска съёжился, потрогал кулёк с подарками, уже нагретый и пахнущий мятными ледышками. Побей-стрей бы лето! Новый год тоже, конечно, хорошо, но летом приедут Светка с Алькой. Он обязательно оставит им конфет и пряников. А ещё оставит половинку шоколадки, которую утром незаметно сунула ему под подушку воспитательница Елена Витальевна. В полудрёме он вспомнил, как она расспрашивала его про отца, и сказал:

— Пап, а Елена Витальевна опять про тебя говорила.

— Ничего, пускай себе говорит. Это она из-за тебя, чтоб учился хорошо.

— Говорила, что ты хороший, и спрашивала, когда ещё приедешь в интернат.

Отец промолчал, дёрнул вожжи. Яшка затрусил, и Дениска тесно привалился к отцовской спине.

— И пускай говорит,—вдруг недовольно повторил отец.— Это она тебя любит, вот и беспокоится,—уже мягче объяснил он.— Ты смотри мамке про это не говори, а то будет нам с тобой тайга.

— Ладно, не скажу,—пообещал Дениска. Он хотел снова зарыться в шубу, но вспомнил о лосёнке.— Пап, а Мишка больше не приходил?

— Приходил.

— А мамка тоже видела?

— Нет, мамка не видела.

— Она не любит его?

— Кто тебе сказал? Ты не выдумывай! Мамка у нас хорошая, она всё понимает.

— Ага,—нехотя согласился Дениска.

Он-то знал, что отец просто защищает её. Она не любит Мишку, потому что думает: это из-за него отец согласился пойти на новую работу. В прошлом году он притащил из тайги беспомощного Мишку на плащ-палатке и всё время ругал кого-то из газоразработчиков, кто убил Мишкину маму-лосиху. Всё лето, пока не окреп, Мишка жил в палисаднике, и Дениска вместе с отцом ходил на берег косить для него траву. Когда подходил теплоход или тащили баржу и отцу надо было выходить к причалу, Мишка немигающим взглядом провожал отцову спину, потом отфыркивался от свежей травы и мычал, вторя гудку. С теплохода отвечали ещё раз, специально для Мишки. Он привык, что снизу, от причала, который вдруг начинал пахнуть и пугать его незнакомыми запахами гари и солярки, отец приносил бидон с молоком. Мама половину выливала в трёхлитровую банку и уносила её на кухню, а остальное молоко выливала в ведро для нетерпеливого Мишки.

Однажды отец вернулся с охоты грустный и отка-

зался от ужина. Утром Дениска проснулся от громких голосов. Родители спорили, и мама в чём-то не соглашалась с отцом, а тот повторял, что наконец всё прояснилось, приехали строители, и доказывал, что теперь, когда поблизости открыли газоразработки, за всем надо будет присматривать. Нет, нет, со своего причала он никуда не поедет, не за тем они бросили здесь якорь. Согласившись на новую работу, он, оказывается, уже подумал обо всех: мама будет летом вместо него принимать теплоходы и баржи, зимой — присматривать за причалом и казёнными лодками. Дениску он решил оформить в интернат, а на выходные и праздники будет забирать его домой. Мама плакала, ругала отца, Реку, тайгу и даже причал. А когда поздней осенью проголодавшийся Мишка вспомнил о даче и снова начал приходить к ним, мама больше не выходила к нему. Однажды, устав ждать, он зашёл в палисадник и заглянул в окно, а мама ни с того ни с сего обругала его, как недоброго человека, и прогнала от дачи...

«А может, они помирились? — с надеждой подумал Дениска. — Вот хорошо бы!»

— Пап, — опять позвал Дениска, — а на Мишку не будут охотиться, его не застрелят?

— Конечно, нет.

— И в яму не поймают?

— Пускай только попробуют!..

— Пап, а почему он всегда приходит, когда меня не бывает дома?

— Ты ж теперь вон где живёшь! Поди-ка угадай, когда ты явишься...

— Ну, ладно, — поверил Дениска и опять подумал: «Поскорей бы лето! Поскорей приезжали б Миненковы!» Он свернулся в жарком мехе, подложил под голову кулак, закрыл глаза...

Спросонок Дениска ничего не мог понять: над ним низко склонилась мама, её волосы переплелись с яркими лучами солнца и светились, ослепляя Дениску.

Но мама почему-то плакала, целовала его, прижималась мокрыми щеками к его лицу и приговаривала:

— Сыночек мой, крошка моя... И нету ему дела до нас!

Отец молча распрягал взмокшего коня и не смотрел на маму.

— Нет... нет ему дела, только о себе,—повторяла она.

— Помолчи! — не выдержал отец.— Перестань, дома поговорим...— мягче добавил он.

— А зачем молчать? Кого бояться? Думаешь, соседи услышат? Нет их, одна тайга кругом!

Отец снял с себя полушубок, накинул его маме на плечи.

— Пошли...

Мама вытерла глаза, остановившись у зеркала, поправила причёску. Никого не впуская в залу, она заставила Дениску надеть свежую рубашку, застегнула её и, откинув ворот, чмокнула в щёку, но уже не жадно, как целовала несколько минут назад, а торопливо, отдавая должное. Потом подождала отца, который умылся и тоже надел новую рубашку, и, наконец, как-то по-особенному, немножко торжественно открыла дверь.

— Прошу! — не удержавшись, пригласила она.

В зале стоял накрытый стол: в вазе вместо цветов зеленели две еловые ветки, отражаясь в гранях прозрачных фужеров, темнел шоколадный торт, а вокруг него ослепительной белизной сверкали блюда.

— Вот это да-а! — выдохнул Дениска.

Отец открыл бутылку лимонада, налил Дениске, и тот чокнулся со всеми: начинался настоящий праздник.

Отец долго молчал, наконец не выдержал и спросил:

— Ну, что там у тебя? Выкладывай...

Мать тихо ответила:

— Иван приходил.

— Рыжий? — удивился отец.

— Он теперь с газовиками работает...



— И что? — опомнившись, забеспокоился отец и осмотрел маму, комнату, стены, кровати каким-то ожившим, встревоженным взглядом, словно отыскивал приметы, по которым он смог бы убедиться, что да, действительно здесь был Иван. — Что он? — повторил отец.

— Успокойся, он только говорил.

— Пап, это про которого дядя Женя спрашивал? Которого вы списали? — спросил Дениска, хотя ему очень не хотелось, чтобы родители разговаривали о нём. Они всегда вспоминали Ивана Рыжего, когда ссорились.

Отец не ответил Дениске. Тихонько позванивая ложечкой, он долго размешивал в стакане сахар, уже не глядя по сторонам, лишь досадно хмурия брови. Дениска понял, что начинается взрослый разговор, заторопился:

— Я в лес, можно?

— Зачем ещё в лес? — встревожилась мама и начала отговаривать: — Вот с отцом пойдёте... за ёлкой. Зачем одному?

— Я же скоро, только кормушки посмотрю.

Отец кивком головы разрешил ему идти, а мама заупрямилась, вдруг опять заругалась на него:

— Зачем разрешаешь? Хочешь добреньким казаться? Ведь тайга же, пойми, Дима!

Дениска соскочил со стула и, пользуясь замешательством, вышел в свою комнату, плотно прикрыв за собой дверь.

Школьный подарок он решил поделить поровну: папе с мамой, себе, Светке с Алькой, а два пряника он мелко раскрошил и завернул в кулёк — это для птиц. Яблоко для Мишки, если, конечно, встретится. А встретиться он должен, ведь столько не виделись они с Дениской! Он приоткрыл дверь и начал ожидать момента, когда ему можно будет незаметно прошмыгнуть на кухню, где было пшено.

— Нет, Лена, ты же знаешь, что не из-за какой ревности. Всё просто: я списал его из-за пьянок, — говорил

отец, и Дениска понимал, что он рассказывает о том времени, когда сам был капитаном на маленьком теплоходе и ходил в море вместе с Иваном Рыжим.

— Он всегда любил меня... и любит! А ты... Уедем, а? Что нам здесь? И Денис... Ведь ему учиться надо!

— Нет, Лена, мы никуда не поедem... пока.

— Но почему? Зачем всё это? Ведь ты же разучился правильно говорить, Дима! Ты же «чавокать» начал!

— Перестань, прошу...

— А может, всё правда? Почему «пока»? Это правда? Только не ври, прошу. Это правда, да? Правда?

— Ты о чём?

— О воспитательнице...

— Дурочка!— вдруг улыбнулся отец. Он привстал, неожиданно обнял маму и легко усадил её себе на колени, прижав её лицо к своей груди.— Это же чушь. Как ты могла поверить?

Дениска прошмыгнул на кухню, закрыл за собой дверь. Прислушался — из залы доносился тихий шёпот. «Наверное, помирились»,— понял мальчик. И пока он доставал с верхней полки пакеты с крупами, набивал карманы новогодними подарками своим лесным друзьям, всё думал, что хотя родители и ругаются, но получается это у них совсем не зло, как в добрых сказках. «И ещё,— думал он,— мама просто не знает, какая добрая у них воспитательница: она всегда приглашает отца зайти в комнату, отогреться с дороги, но почему-то он лишь благодарит её и всегда отказывается, а воспитательница потом переживает и долго спрашивает у Дениски: не обиделся ли он? Как понять этих взрослых?»

Дениска приготовился незаметно выйти, но мама опередила его, вошла на кухню и как можно строже постаралась спросить:

— Опять пшено тащишь?

— Я хотел... я совсем немножко.

Мама не выдержала строгого тона, улыбнулась:

— Ах врунишка! Вон сколько просыпал.

Но Дениска уже разгадал, понял её: маме не хотелось ругаться. С ней произошло что-то непонятное. Глаза её искрились, щёки порозовели, лицо ожило, а сбившаяся причёска делала её молодой и немножко озорной. Она вдруг прижала Денискину голову к мягкому животу, легонько похлопала чуть ниже спины, всё приговаривая:

— Ах врунишка! Ах... — Потом она склонилась над ним, поцеловала в голову и чуть-чуть строже попросила: — А ну-ка подбери всё быстренько и вон те кульки забери.

— Что в них? — удивился Дениска.

— Хлебные крошки, — опять улыбнулась мама. Она была так добра сейчас! — За неделю набралось... Так смотри же не надолго. А то без ёлки оставите, тоже мне мужики!

«Какая у нас красивая мама!» — одеваясь, снова подумал Дениска.

Отец вышел на крыльцо, долго и придирчиво осматривал его снаряжение: шапку, варежки, шубу. Потом нагнулся и ещё раз проверил лыжные крепления, унты. Он всегда проверял их долго, основательно, словно не верил, что они смогут защитить от мороза Денискины ноги. Но всё оказалось на месте.

— Молодец! — Отец, как взрослого, хлопнул сына по плечу и легонько подтолкнул: — Ну, давай, только не опоздай. А то слышал, что мама говорит: за ёлкой не сходили...

И Дениска понял, что родители действительно помирились, может навсегда.

Послеобеденное солнце ещё озаряло высокий берег Восьмого причала, сверкая ослабшими лучами на лопастьях флюгера, а внизу, над замёрзшей Рекой, начали сгущаться и синеть сумерки. На том месте, где летом качался шаткий трап, теперь неподвижно лежали ровные, заострённые на верхушках сугробы. Отсюда,

сверху, Дениске показалось, что это был один большой сугроб, и он долго полз сюда откуда-нибудь из-за утёса, но ему не хватило сил взобраться на крутизну, и он лёг, зatih, спиной повернувшись к запорошённой катеру. На утёсе, где Река поворачивала и поднималась выше, к Девятому причалу, бесстрашно замерли на самом краю высокие кедры. А ещё дальше, на сколько хватало взгляда, темнела и голубым инеем серебрилась тайга. «Хорошее место выбрал отец!» — подумал Дениска. Он пока ничего не говорил маме, но давно решил, что когда вырастет и станет совсем большим, то сменит отца: станет сам принимать на причале теплоходы и сторожить тайгу.

Под лыжами захрустел снег, за Дениской снова потянулась ровная аккуратная лыжня. Невольно он остановился у столба с какой-то табличкой. Свежей краской на широком фанерном листе был нарисован лосёнок, очень похожий на Мишку, а сбоку и чуть ниже рисунка крупными печатными буквами было написано: «Охота без лицензий запрещена! Старший егерь Д. А. Столетов». Так называлась новая папкина работа.

Обойдя столб, Дениска смело повернул от берега в тайгу и, пробираясь сквозь кустарник, скоро нашёл первую кормушку. В ней покачивалась высокая шапка снега, кругом было тихо, словно птицы давно улетели отсюда насовсем, за неделю забыв о Дениске. Не раздумывая, мальчик вычистил кормушку, насыпал в неё корма и, притаившись, начал ждать. Сначала он только и слышал, как высоко, у самых крон могучих деревьев, шумел ветер, попавшись в сети ветвей, но потом несколько раз ударил дятел и чечёткой зачастил своим клювом по звонкому стволу. В ответ ему где-то рядом пискнула какая-то птица, потом она протяжно передразнила дятла: «Ту-ук, тук», проскрипела расшатанными полозьями саней и вдруг прокричала петухом, чем-то рассерженная, несколько раз повторила: «Кийяак кийяак», совсем как дикая птица канюк. И Дениска по

голосу узнал сойку. Сзади неожиданно хрустнула ветка, и всё замерло. Дениска обернулся и прикусил губу: из-за снежной кочки торчали и мелко дрожали два белых петлистых кончика. «Заяц!» — догадался Дениска. Тот приподнялся на задние лапки, осмотрелся, подёргал усами, чувствуя неладное, и оторопел, совсем рядом заметив Дениску. Ничего не понимая, мгновение он смотрел на мальчика порозовевшими глазами, потом одумался и, подскочив, метнулся в кусты. Дениска приподнялся, отыскивая его между деревьями, но заяц так перетрусил, что не оставил даже следов.

А тем временем к кормушке слетели буроголовые гаички, маленькими серыми комочками упали пищухи, едва заметно порхали по краям кормушки крошечные крапивники. Птицы угощались Денискиными подарками, о чём-то спорили, опять замолкали, а иные становились на край кормушки и, пуша синие и розовые грудки, подолгу рассматривали Дениску, словно узнавали в нём доброго знакомого. Он невольно улыбнулся от такой догадки, подмигнул пернатым, как старым, верным друзьям. Но его ждали другие кормушки, и он заспешил накрыть праздничный стол для остальных.

Последнюю из кормушек Дениска давно не проверял. Она была самой дальней, и на неё никогда не хватало времени. Но сегодня он решил во что бы то ни стало разыскать её и накрыть новогодний стол. Однако кормушки нигде не было. Дениска хорошо помнил, что повесил её вон туда, на сук засохшей пихты, и ещё побоялся тогда, что лоси заденут её — рядом была их тропа к Реке. А теперь вокруг на кустах зачем-то висели клочки сена.

«Может, отец? — подумал Дениска. — Может, он для Мишки?»

Он ещё раз внимательно, ветка за веткой, осмотрел пихту и наконец-то совсем низко заметил коротко обрезанные тесёмки. Сук, на котором висела кормушка, был

сломан. «Нет, отец не мог...» — растерянно подумал Дениска.

Оказалось, кормушка кому-то помешала, и её бросили в можжевельниковые кусты, за высокий сугроб с пологой, сбившейся набок крышей.

Времени оставалось мало, он помнил, что надо было ещё успеть за ёлкой, и Дениска пошёл напрямую, помогая себе палками взобраться на сугроб. И лишь только он взобрался на козырёк, под ним что-то треснуло, пошевелилось, качнулось, словно сугроб ожил, и вдруг лиственницы рванулись к небу — сам же он полетел почему-то вниз. Сверху на него посыпался снег, перемешанный с сухими ветвями и листьями.

Удара Дениска не ощутил — лопнула и косо развалилась под креплением лыжа, за воротник покатались ледяные, туго скатанные снежинки. Вторая лыжа вместе с унтом осталась наверху и наполовину торчала из края проруби, куда нырнул Дениска. Ещё выше, за зыбкой крышей, синел неровный квадрат, и лыжа чернела в нём, как не дочерченная до противоположного угла гипотенуза. Дениска опустил глаза. Он понял, что попал в ловчую яму, о которых слышал от отца и читал в книжках, что лыжа раскололась от того, что в дно ямы были вбиты железные штыри, и он угодил ею в один из них, случайно не напоровшись на остальные.

Яма была глубокая, без помощи выбраться из неё было нельзя. Значит, оставалось одно — ждать, и, может быть, ждать долго. Но Дениска не боялся этого, он знал, что отец обязательно найдёт его, только до слёз обидно было, что край ямы был совсем рядом, над головой, а у него не хватало ни сил, ни умения освободиться самому, без посторонней помощи.

Перед дорогой Дениска надел тёплые носки из козьего пуха, и теперь, когда левая нога осталась без унта, они надёжно сохраняли тепло. Однако Дениска понимал, что его хватит ненадолго, надо было что-то придумать. Он попытался сбить застрявшую лыжу

обломком второй, но на него снова посыпались ветви, настил зашатался, в нём снова что-то хрустнуло, и он осел ещё ниже, готовый обрушиться на Дениску.

Мальчик неловко подогнул под себя разутую ногу, сел в угол, тесно прижимаясь к промёрзшим стенам ямы. Он опустил уши шапки-ушанки, приподнял воротник шубы и ещё плотнее поджал под себя ногу, укрывая её полрой шубы. Дениска знал, что если он просто заболит, то его обязательно вылечат врачи, как папу. Давно, ещё в Магадане, когда в море тонул его корабль, папка простудился и заболел. Он долго лежал в больнице, но его всё же вылечили и даже «не списали», только перевели на теплоход. А когда однажды папка заблудился в тайге и обморозился, то его совсем «списали», потому что из больницы он вернулся с ногами без пальцев. Ведь это теперь он ходит так, что и Дениске не угнаться!

«Болезнь можно, это ничего,— опять подумал Дениска.— Только б ноги не замёрзли...»

Он поёжился, засунул правую руку под полу ещё тёплой шубы — он решил греть руки попеременно — и вдруг нащупал яблоко. Как жаль, что сегодня он не сможет встретить Мишку и отдать ему новогодний подарок!

Дениска старался думать о постороннем, улыбнулся, вспомнил, что мама помирилась с Мишкой. Но странно: когда лосёнок подходил к палисаднику, то всегда надолго оставлял после себя глубокие следы. А сегодня мальчик не видел их, следов не было...

«Может, он приходил на огород?» — подумал Дениска, ведь папка никогда не обманывал его, значит, Мишка действительно приходил, а на огороде Дениска так и не успел побывать.

Неровный квадратик над мальчиком потемнел, в нём зажглась и повисла робкая жёлто-голубая звезда. Похолодало, руки озябли, дыхание уже не согревало их. А время тянулось так медленно!

«Где он, папка?..» Дениске захотелось тихонько, чтобы никто потом не догадался, заплакать или закричать, но было стыдно и страшно... Ещё через минуту он собрался с духом, успокоил себя и закрыл глаза, надеясь, что так время пройдёт быстрее.

Где-то совсем рядом затрещали кусты, будто, не разбирая дороги, бежала медведица, и на Дениску посыпался снег, обвалился край настила, его опять осыпало сухими ветвями. Но сквозь весь этот шум и треск до Дениски донеслись родные голоса.

«Нашли!» — догадался он, и по его щекам невольно покатались лёгкие слёзы.

Отец освещал яму фонарём, что-то кричал Дениске радостное, но мальчик уже не слышал его слов, ему самому хотелось во весь голос прокричать: «А я не плакал!.. Я всё равно не плакал!» — но губы не послушались, и вместо громких слов он пролепетал что-то неслышное.

— Не плакал? — расслышал отец. — Ты послушай-ка, мать! Он не плакал! Ты слышала — не плакал!

Мама стояла где-то рядом, наверное, снова плакала и ругала папу, но тот всё равно не подпускал её близко к яме, чтобы не обвалить всё висевший над Дениской край валежника.

Наконец отец что-то сделал там, наверху, и к Дениске сначала упала верёвка, вслед за ней рухнул остаток настила, и вместе с ним свалился в яму отец. Он выкопал Дениску из снега и ветвей, начал отряхивать его, кутая в тёплую лисью шубу, ладонями оттирая щёки, приговаривая что-то радостное, и вдруг замер, нащупав под ногой железный штырь.

— Обнаглели... совсем обнаглели! Да их же... Ах сволота! — может быть даже забыв на мгновение о Дениске, ругался он. — Ну куда ж нам? Ах сволота! Кому ж бросать? погоди, я им... Согрелся? Давай-ка наверх!

Первым выбрался Дениска и сразу же попал в мягкие объятия мамы.



— Как же ты? Как же... — только и выговаривала она, прижимая к себе Дениску, а когда отец подходил близко, отворачивалась от него, закрывая сына собой, точно хотела спрятать, оградить его от отца. Тот отвязал от пихты второй конец верёвки и всю её смотал в круг, очень похожий на спасательный.

— Со штырями, а? В ямы! Что делают, а? — не слушая маму, говорил он о своём. — Куда ж нам ехать, если совсем обнаглели?

— Он и слушать не хочет! Помешался на тайге!.. — Мама пришла в себя, успокоилась, и её слова становились всё понятнее. — Сгубишь! И себя и дитё погубишь. Не будет нам житья здесь!

Дениска отогрелся. Ему совсем не хотелось, чтобы родители снова ругались. Они у него были такие хорошие! Он начал выпутываться из шубы, попросил:

— Я сам пойду, можно? Пусти-и, мам...

Они шли домой — мама впереди, а Дениска с отцом следом за ней. Отец нёс на плече верёвку, топор и сумку с какими-то приспособлениями. Небо почернело, высыпали любопытные звёзды, а Дениска в который раз пересказывал, как он взобрался на сугроб и провалился, как ожидал отца и грел ногу, как боялся, но совсем немножко.

— Пап,— позвал Дениска,— а кормушки ты будешь тоже охранять?

— Ну а как же! Кроме каникул и выходных дней, твой участок беру под контроль.

— Это будет мой участок? Правда? Мой?

Мама услышала разговор и попыталась остановить отца:

— Не дури ты ему голову! Зачем про тайгу...

Но отец шепнул:

— Точно! Твой!

— И таблички сделаешь?

— И таблички...

— А что напишешь?

Отец приложил к губам полусогнутую ладонь и, чтобы мама не расслышала и ничего не поняла, ответил:

— Напишу: «Егерёнок Столетов Денис».

Впереди зажелтели окна дома, слышно хлопала на ветру неприкрытая в спешке дверь, и мама заторопила отставших. Дениска заметил черневшую в палисаднике ёлку и, прежде чем взбежать по ступенькам, успел подумать, что новогодние праздники, как и повсюду, они встретят с наряженной ёлкой.

## ФЕДОТКИНЫ ОТКРЫТИЯ

Летом Федотка читал книжки на сеновале, где зажатое между двух пыльных жердей приплюснутым комом глины свисало гнездо ласточки. На прошлой неделе вместо белых в крапинку яиц в нём появились птенцы. Интересные! Совсем голые, с треугольными ярко-жёлтыми ртами. Глаза у них были затянуты плёнкой, и Федотке казалось, что им кто-то надел на глаза крохотные серые мешочки.

Каждый день мальчик тайком от матери тащил на сеновал табуретку, влезал на неё и подолгу глазел на живые комочки. Они то затихали, сжавшись и теснясь друг к дружке, то, услышав какой-нибудь близкий шум, вдруг хором вскидывали головы на длинных тонких шеях и начинали часто и широко раскрывать яркие рты.

«Растут...» — всякий раз про себя отмечал Федотка. Но крылья у птенцов по-прежнему мало походили на птичьи и казались неуклюжими тёмно-серыми угольниками, облипшими лёгким, почти невидимым пухом. Федотка знал, что птенцы должны опериться и летать совсем как взрослые ласточки, но он внимательно смот-

рел на эти живые беспомощные комочки, потом на светлую полосу в крыше и снова не верил в это.

Сначала у птенцов прорезались глаза — маленькие, как маковые зёрнышки, живые, блестящие. Потом крылья поросли длинной, похожей на солому щетиной и скоро запушились кисточками настоящих перьев. Теперь Федотка поверил, что эти серые шарики в пуху станут птицами и выпорхнут из сеновала через светлую дыру в крыше. От удовольствия он прищурился и словно наяву услышал, как молодые ласточки ударяют острыми крыльями по сухой сосновой дранке, впервые вылетая на незнакомую дорогу вслед за родителями.

«Интересно,— подумал Федотка,— а куда они полетят? В лес? А может, за Жиздру? Куда?..»

Куда могли ласточки улететь ещё, Федотка не знал. Но припомнил, что на зиму ласточки улетают далеко-далеко, в жаркие страны. Ему вдруг представились синяя даль горизонта, ледяные вершины гор, бушующий океан... Аж сердце зашлось!

«Куда?!»

И вдруг его осенило: «А нацеплю-ка я им колечки на лапки, как Игорь Иванович по зоологии... И записки напишу!» Он прыгнул с табуретки прямо в сено и кувыркком соскочил с сеновала.

До позднего вечера мальчик мастерил кольца. Он нашёл фольгу, нарезал из неё ровных полосок, потом согнул каждую вдвое и вложил записки с адресом.

Ещё через три дня птенцы оперились, их жёлтые треугольные рты вытянулись в острые чёрные клювы. Федотка опять незаметно утащил на сеновал табуретку, встал на неё и заглянул в гнездо. Птенцы съёжились и притихли. Мальчик осторожно достал из гнезда тёплый комочек, стал надевать на лапку кольцо.

— А ты что это де-елаешь? — закартавила вдруг сестрёнка. — Ой, птенчики! Федь, дай поделзать...

— Тс-с... — приложил палец к губам Федотка. — Нельзя, они маленькие.

— Ох хитленький какой! Тебе можно, а мне...

— Тсс...— опять остановил он сестрёнку.— Видишь, я колечки надеваю. С адресом. Птенчики подрастут и полетят далеко-далеко, может к индейцам. Или в Африку. А там снимут колечки и пришлют нам письмо... Представляешь — из самой Африки!

Сестрёнка, не моргая, выслушала брата и вдруг надула свои пухлые щёки:

— Ну дай поделзать, да-ай! А то всё маме ласскажу-у...

— Тсс, тише,— попытался унять её Федотка, но сестрёнка не замолчала:

— Ласскажу-у... ма-ам, а-а, мам, Федька птенчиков не даёт! — и побежала к матери.

Федотка стоял посреди избы, хлопал длинными чёрными ресницами и молча ковырял ногтем клеёнку. Мать подвязывала по-рабочему заскорузлый фартук, торопясь куда-то, но всё же терпеливо отчитывала Федотку:

— То ж другие кольца, поди маленькие. А у тебя? Да с такими подковами пропадут они! Господи, и как непонятно? Во второй класс пошёл, а пень пнём. Чему вас там учат?!

— Ласточек нельзя-я обизать,— вставила сестрёнка,— колова молока не даст.

Мать остановилась и, прежде чем выйти, пригрозила сыну:

— Чтоб не смел больше, я т-те!..

Федотка тихонько подошёл к окну, поднял глаза. На проводах, прижавшись друг к другу, как чёрные бусы, качались ласточки и о чём-то спорили. А мальчик думал: «Ну куда они полетят? Куда?..» И опять ему виделись моря, горы, океаны. И опять замирало сердце.

К вечеру, в обычное для неугомонных игр время, вся деревенская детвора, вдруг забыв обо всём на свете, присмирела, заспешила по дворам. Улица притихла, словно оглохла: по телевизору ожидался фильм про

индейцев. Федотка тоже не отставал от других. Он заранее вернулся домой, поставил табурет среди горницы и, включив телевизор, заморозив сел перед экраном. Рядом пристроилась сестрёнка. Она виновато поглядывала на брата, качая ногами, обутыми в красивые синие туфли, но Федотка сидел молча и ни разу не взглянул на неё.

— Ско-оло, Федь? — не выдержала она. — Чего молчишь? Ну сколо?

— Сейчас, — беззлобно, но с деловитостью взрослого ответил Федотка. — Смотри, вон!

В ту же минуту громко хлопнула дверь, с порога слышался голос матери, на кухне звякнули пустые вёдра:

— Валите — всё повезём, валите на нас. Мы же бесчувственные, железные! — рассерженно говорила мать сама себе, переиначивая чьи-то слова. — И когда ж это всё кончится!

Мать ругала работу, злилась, а Федотке становилось всё тревожнее. Он крепче сжал края табуретки, съёжился, убирая голову в плечи. Ему захотелось стать маленьким, неприметным, потому что на экране уже скакал вождь индейцев, а за ним пылила погоня, и было интересно узнать, что же случится через минуту? Но мать сердилась всё больше, и наконец её слова достали Федотку:

— Вставай, на ферму пойдём.

Федотка хотел притвориться глухим, хворым, но понимал, что ничто уже не спасёт его.

— Кому говорю? — прикрикнула мать. — Глухой, что ли?

— И кино посмотреть нельзя... Как что — так я! — с обидой высказался Федотка, из последних сил не пуская на глаза слёзы. — Надьке вон можно... — И подумал: «Эх, был бы жив отец! Он заступился б».

— Только и считались бы! Подрастёт — тоже помогать станет. Собирайся!



Федотка встал, но всё ещё косился на экран, где, взбрыкнув ногами, кувырком летела подстреленная лошадь, а вождь индейцев откатывался в сторону и прижимал к груди карабин. Но мать уже грозно приказала:

— Пойдём, говорю!

Перестав качать ногами, сестрёнка молчаливым взглядом проводила брата из горницы.

Насупившись, Федотка шёл за матерью, а та говорила:

— И не жалко, что мать растянется! Телевизор дороже вам... Да где ж я успею всё? Ещё вон стадо коров пригнали. На время, говорят. А какой на время? На наши руки маета!

Федотка, после того как умер отец, чувствовал себя взрослым в семье и жалел мать. Поэтому, хотя о фильме думалось с нетерпением, он шагал на работу всё бодрее.

На ферме было шумно. Новое стадо, которое пригнали сюда из деревни (у соседей некому стало выдаивать его), никак не шло в чужой двор. Растревоженные коровы косились на доярок, на время подчиняясь им, шли к воротам, будто на ощупь выверяя копытами землю перед собой, но перед самой дверью всё же увиливали и бежали назад. В дальнем углу загона они останавливались и, высоко подняв головы, смотрели за прясло, цедя мокрыми ноздрями вечерний воздух, словно принюхиваясь к отдалённым родным запахам.

Доярки снова обходили коров со всех сторон, уговаривая и покрикивая, правили их на дверной проём, откуда вкусно и заманчиво пахло комбикормом.

— Ну чего? Чего испугались? Чужие люди? Теперь уж не чужие... Ну, не бойтесь, идите... идите,— манила их мать, взбивая в кормушке мучное облако. И когда, соблазняясь мукой, коровы совали в кормушки головы, она ловко перекидывала им через шеи привязки.— Вот и

всё, голубушки, вот и стойте-ка...—поглаживала она коров.

Наконец включили мотор, в трубах засипел воздух, и повсюду защёлкали клапаны автодоилок. Пока аппарат доил одну корову, мать руками успевала выдоить другую, которая привыкла к ней и только её рукам отдавала молоко. Федотка собирал молоко в вёдра и, боясь плеснуть, относил его в приёмную комнату, а там сцеживал в алюминиевую флягу с густой зелёной цифрой «четыре» на выпуклом боку.

Тем временем новосёлы начисто вылизали шершавым языком комбикорм из кормушек и, посматривая по сторонам, замотали головами, зазвенели цепями привязей.

— Чего это они?—сторонясь остророгой коровы, спросил Федотка.

— Непривычно на новом месте—вот и недовольствуют. Они ж теперь бездомные. Вот как бы оказался без своего дома,—пояснила мать.—А к Белке не подходи близко,—кивнула она в сторону поджарой коровы с бельмом на глазу,—бодается.

Федотка уже много раз прошёл мимо Белки и ни разу не посторонился. Но оказалось, так беспечно можно было ходить, покуда корова была занята вкусной едой. Теперь же она всякий раз косилась на Федотку, переступала ногами, нюхала воздух и, если Федотка проходил слишком близко, вытягивала шею и мотала головой: не подходи!

Мальчик остановился в стороне от коровы и стал рассматривать её. Была она тонконога, с острыми нетерпеливыми копытами и недлинным жидким хвостом.

«Собаки общипали»,—решил он. Все коровы в маминей группе были круглобоки, а у Белки бока с обеих сторон будто кто приплюснул.

«Наверно, там, в другом месте, её плохо кормили,—с грустью подумал Федотка.—А может, и били...»



Левый глаз у коровы наполовину затёк молочной плёнкой и беспрестанно слезился. Правый — большой, карий с сизым отливом — смотрел на Федотку внимательно и немножко недоверчиво. Мальчик оставил на проходе пустые вёдра и хотел ближе подойти к Белке, но та испуганно шарахнулась в сторону, наскакивая на соседку. «Били её!» — окончательно понял Федотка, и ему стало жалко корову.

Теперь, проходя мимо Белки, Федотка следил за её насторожённым тёмным взглядом и приговаривал:

— Не бойся, у нас хорошо. Мама не будет тебя бить...

Но больше он не подходил к Белке близко, чтобы не пугать её. Ведь она же ни разу ещё не видела ни маму, ни его, Федотку, а значит, не успела узнать и полюбить их.

Доярки заканчивали дойку, и, поторапливая их, механик покрикивал в проходах:

— Поживей, девки, поживей — мотор спалим!

Мать торопила Федотку, и тот, забыв про Белку, семенил по проходам с вёдрами, чувствуя, как руки его вытягиваются и немеют в суставах.

— Ну и всё, остальное сама принесу! — Мать вылила из доенки последнее молоко и устало разогнула спину. — Митрич, выключай мотор! — крикнула она, потому что оставалось ей выдоить одну только Белку.

Федотка поднял вёдра и понёс их по проходу, но когда он поравнялся с Белкой, та нетерпеливо переступила, теранувшись копытцами, точно хотела снять их, взбрыкнула, и из сосков с сипом ударили белые струи. Федотка откачнулся от Белки, молоко плеснулось из вёдер и потащило его в сторону. Корова замотала головой, протяжно заревела.

Опомнился Федотка, когда мать уже подхватила валявшиеся в белых лужах пустые вёдра.

— Говорила ж — смотри! — в сердцах шлёпнула она

Федотку.— Руки отсохли? — добавила она ещё.— Напомогал, чёрт сопливый.

Федотка вскипел, на щёки брызнули слёзы.

— И убегу! Убегу-у!!! — выкрикнул он в обиде на всех: на сестрёнку, на мать, на фильм про индейцев и ещё на то, что вёдра были всё же тяжёлые.— Убегу! — Он кинулся в сторону и забежал в тамбур с мешками, готовый сейчас же, вот здесь, умереть. «И пусть без меня, пусть!» — думал он.

Было слышно, как за дощатой стеной, взбудораженные запахом парного молока, мычали коровы и рвали привязи, на весь прогон причитала мать и как успокаивал её Митрич:

— Да угомонись ты, ей-богу. Лучше на Белку вон посмотри. Не удержала молоко да и взбрыкнула. А ты... угомонись, не кляни мальчика!

Федотка притих и присел на холодные мешки с комбикормом. «Эх, был бы жив отец!..» — опять подумал мальчик. Но отец умер давно, когда Федотка не ходил ещё в школу, и он помнил только, что в больницу отца повезли на тех же тракторных санях, на которых в тот день возил он с мужиками лес для нового сарая.

Зажав руки между коленями и чувствуя, как медленно высыхают на щеках слёзы, он вздохнул глубоко и облегчённо. Потом поёжился и, ощущая, как где-то на груди, под рубашкой, собирается тепло, ещё раз вздохнул и устало сомкнул веки...

Очнулся Федотка в одно мгновение и, выдернув занемевшие руки, зажатые между коленей, с минуту хлопал ресницами, ничего не понимая.

— Поднимайся, сынок, поднимайся... Заснул, бедный! — Мать ласково касалась его плеча, заботливо приговаривала: — Ну, вставай же! Ай приснилось что?

Федотка улыбнулся матери, вскочил на затёкшие ноги.

Был уже поздний вечер, в коровнике белели посыпанные опилками проходы. Высоко, под самым потол-

ком, где висели гнёзда, сидели на проводах ласточки и чутко сторожили птенцов. Время от времени они вздрагивали крыльями и, переваливаясь с лапки на лапку, отгоняли от себя сон. Но то были другие ласточки — пугливые, недоверчивые и почти совсем непохожие на тех, что жили дома, на сеновале. Слышалось в тишине, как тяжело дышат и поскрипывают зубами коровы, пережёвывая траву. Белка на минуту перестала жевать и проводила Федотку долгим взглядом.

— Мам, а Белка боится тебя?

— Чего ж ей бояться?

— Ты её не била?

— Она ж молоко даёт, зачем её бить?

— Теперь у неё свой дом будет?

— Конечно.

— Я, как нашу Нежданку, жалеть её буду, хлеб приносить... Мам, а раньше Белке плохо жилось, её били там, на другом месте,—старался он успеть за мамой.

Небо почернело над деревней, из туманной низины повеяло прохладой. Мать взяла Федотку за руку и сказала:

— И забыла! Ведь на завтра тебя в пастухи звали!

— Кто звал?

— Тётка Поля. На два дня просила. Ну что, пойдёшь? — как у взрослого, спросила она.

Федотка обрадовался, сжал руку матери, но, сдержавшись, по-взрослому и ответил:

— Пойду! Раз просила — надо.

Утром Федотку разбудили рано. За окном уже сияло и звенело утро, а на столе дымилась паром картошка. Однако первым делом Федотка собрал пастушье снаряжение: сапоги, кепку, старый пиджак, сумку с полдником. Он оделся, прихватил пиджак солдатским ремнём и поправил на боку сумку.

— Ты ещё в зеркало посмотришь,—улыбнулась мать.—Ешь, а то стадо не догонишь.

Побросав из ладони в ладонь горячую картофелину, Федотка снял с неё мундир, посыпал солью и съел, запив кружкой холодного молока.

— А где моя палка?

— За калиткой стоит, пастуха дожидает...— опять посмеялась мать.

Утро встретило Федотку звонким птичьим перезвоном, золотистым пожаром и разноцветным сиянием росы. Показалось, что всё вокруг улыбается от счастья видеть Федотку.

И он вдруг подмигнул утру, потому что впервые пригласили его в пастухи, сочтя пригодным для такого важного дела. А это означало, что и к нему будет то особое внимание, которым издавна окружали в деревне пастухов: полдневать он сядет в поле, ужинать его посадят в красный угол, выставив на стол всё самое лучшее, и ночевать тётя Поля оставит его у себя, чтобы завтра встать в срок.

— Что-то поздненько вышел, мил человек,— издали прокричала тётя Поля.— Ай прокимарил лишку?

— Здравствуй, тётя По-о...— Федотка хотел по привычке сказать «Полевичка», как издавна дразнили тётю Полю в деревне, но не посмел и осекся.

— Здравствуй, здравствуй, мил человек... Становись-ка за стадом, а я попридержу.

Разминаясь после ночной спячки, коровы шибким шагом двинулись за деревню, сбивая с травы голубоватую росу и оставляя за собой тёмно-зелёные тропы. Но тётя Поля стала впереди стада, и коровы присмирели; всё чаще цепляясь шершавыми языками за пёстрые головки клевера, через несколько минут они вовсе притихли, и только было слышно, как секут они хвостами комаров да отфыркиваются от горькой травы.

В первый час Федотка, покрикивая, подгонял отставших коров, манил Нежданку, протягивал ей кусок хлеба, но та лишь косилась на пастуха и не желала признавать в нём хозяина. Он разглядывал места под коч-

ками, откуда взлетали, вскрикивая, лесные коньки, но так и не находил гнёзда этих хитрющих птиц: маскировались они здорово! Однако скоро припекло солнце, увяли последние капли росы, и Федотка всё чаще снимал кепку, утомлённо отгоняя от себя надоедливых водней и оводов. «Пора бы на стоянку...» — подумывал мальчик и искал глазами тётю Полю. Та, повязавшись до бровей белым платком и перекинув через плечо серую сумку, ходила впереди стада и всё время приглядывалась себе под ноги. Порой она нагибалась и что-то поднимала. От частых нагибаний тётя Поля казалась полукруглой. «И впрямь, Полевичка», — подумалось Федотке.

Но вот тётя Поля разогнулась и махнула рукой:  
— Пора-а!

Федотка понял её, сразу взбодрился и проворнее пошёл за стадом.

Напоив коров в почти пересохшем пруду, они поставили их отдыхать на опушке берёзового леса. Коровы одна за другой выбирали себе место поудобней. Согнув переднюю ногу в колене, они опирались на неё и ложились на бок, тяжело вздохнув и роняя перед собой серебристые паутины слюны.

— Тут-ко и полдневать станем,— улыбнулась тётя Поля.— Не приморился? — Глаза её смеялись серыми лучиками из-под густых выцветших бровей, очень похожих на пучки пожелтевшей прошлогодней травы.— Ну и добро, тогда костёр зачнём... Пора.

Федотка положил на пенёк пастушью палку и узелок с полдником, а сам пошёл готовить сухие ветки для костра. Он приносил сухостой тёте Поле, и та ломала его, шалашиком ставя на чёрную круговину кострища. Федотка спешил, боясь пропустить момент, когда займётся, запляшет огонь костра.

— Ну и довольно,— остановила его Полевичка и, прищулив лукавые глаза, протянула коробок со спичками: — Зачиная-ка! Ведь это, поди, мужицкое дело...

Мальчику показалось, что в один момент он вырос и окреп, а усталость исчезла, как будто её никогда и не было. Он твёрдой рукой взял коробок, чиркнул спичкой, и язычок пламени перепрыгнул на берёсту, потрескивая, полез в глубь костра и, процеживаясь сквозь ветви, красными струями вырвался наружу.

Федотка распрямился и ладонью смахнул пот со лба. «Получилось! С одной спички!» — молча ликовал он, потому что с первого раза костёр удавалось зажечь только отцу.

Тем временем тётя Поля успела принести котелок воды и повесила его над костром, опустив чёрное от копоти дно прямо в золотистые кисти огня.

— Вот и чаёк у нас будет...

Дыма от костра почти не было, и мальчика, лишь только он присел, подняли с места налетевшие оводы и комары...

— Фу-ты, фу-ты! — отгонял он их кепкой.

— Ай одолели? — почему-то усмехнулась тётя Поля. — А мы их во как...

Она достала из сумки, той самой, которую всё время носила через плечо, пучок ромашек, бросила их в огонь. Белоснежные лепестки взбугрились, пожелтели, начали по краям чернеть, а костёр в ответ фыркнул сизым кольцом дыма.

— Зачем ты? — Федотка с неприязнью посмотрел на Полевичку. — Зачем?

— Как зачем? Чтобы комаров прогнать.

И действительно, их как не бывало.

— Почему это? — недоуменно спросил Федотка.

— Кто её знает! Уж такая сила ромашке дадена... А ты разувай-ка ноги, пусть сапоги просохнут... — растялая на солнцепёке портянки, сказала тётя Поля.

Федотка расстелил рядом свои, отнёс в тень под липу резиновые сапоги, а когда вернулся, тётя Поля, ладонью прикрываясь от жаркого огня, бросила в кипящую воду щепотку сочных липовых листьев, потом

достала из сумки две коричневатые ветки зверобоя и тоже утопила их в белой пене.

— Ты чего так смотришь?..

Она сняла платок и поправила свои негустые волосы цвета пересохшей земли. Её лицо в густой сетке морщин раскраснелось от костра, помолодело, и Федотка с удивлением смотрел на эти превращения.

— Да садись же, садись! — тронула его за руку тётя Поля. — Теперь полдневать пора.

Они разложили на развёрнутой газете сало, яйца, хлеб, малосольные огурцы, два бурых помидора... Взглянув на котелок, тётя Поля поднялась, сняла его и, вытащив из сумки щепотку желтоватых цветков липы, кинула их в зеленоватую, дымящуюся паром воду.

— Вот и порядок у нас, — накрыла она котелок своим белым платком.

— Что это? — робко спросил Федотка и невольно поёжился, ему показалось, что Полевичка колдует. Видно, не зря так дразнили её в деревне.

— Чай, — просто ответила Полевичка, — из липы и зверобоя... Ай не пил никогда?

— Нет, — признался Федотка, — а зачем это?

— Чтобы здоровым быть, не болеть...

— Ты правду говоришь? — всё ещё робея, покосился он на сумку тёти Поли.

И вдруг Полевичка рассмеялась мелким, негромким смехом, поняв наконец-то Федоткину тревогу.

— Чудной, ах чудной! — сквозь смех проговорила она, доставая из сумки какой-то свёрток, завернутый в отдельную тряпочку.

— Ведь у меня тут какого хочешь добра. Погляди-ка...

Она развернула свёрток и показала Федотке продолговатые, очень похожие на яйцо, но зубчатые по краям листья. Федотка внимательно рассмотрел их, и оказалось, что сверху листья были тёмно-зелёные, сочные, а снизу сероватые, точно припудренные золой. Из-под

листьев торчал цветок, похожий на колокольчик, но крупнее его и неопрятнее, грязно-жёлтого цвета с фиолетовой сетью жилок. Федотка хотел потрогать цветок, но тётя Поля убрала свёрток.

— Это белена, самое ядовитое растение здесь,—пояснила она.

Федотка спрятал руку, которой хотел потрогать цветок, и опять поёжился, чувствуя холодок на спине в канавке между лопатками.

— Не робей, ведь и оно полезно. Твою мамку от ревматизма только белена вот да ещё дурман и спасают.

Федотка помнил, как раньше мама работала на старой ферме и вручную носила коровам воду из колодца. Вечерами она залезала на печку, прижималась коленками к горячим кирпичам и, постанывая, растирала руки и ноги шерстяными носками. Отец спрашивал:

— Может, к Поле сходить?

В ответ ничего не слышалось, кроме тяжёлых материнских вздохов. Отец молча шёл к Полевичке, что-то приносил от неё, и уже утром, уняв боль, мать снова шла на ферму...

— А там что? — Федотка указал на измазанный землёй кулёк, свёрнутый из тетрадного листа, и уже доверчиво посмотрел на тётю Полю.

— Эт-то? — развернула она кулёк и показала Федотке короткие, но толстые мясистые корни.— Это девясил. Вот вымою его в родниковой воде, высушу, а коль зимой кашель тебя одолеет, так приходи, не забывай. Выпьешь отварчику, как рукой простуду снимет. Вот что это...

— А там? — Федотка с любопытством заглянул в сумку.

Тётя Поля достала пучок крупной белоголовой травы с мелко порезанными листьями. На этот раз она протянула цветы мальчику и пояснила:

— Это тысячелистник.



— Потому что листьев много? — разглядывая траву, догадался Федотка.

— А по-другому он зовётся ещё солдатской травой.

— Потому что солдатам помогает?

Тётя Поля улыбнулась, заботливо спрятала траву в сумку, чтобы не обжигало солнце.

— Так он и сам солдат. Ни плохой земли, ни безводия не боится. Всюду навывтяжку стоит, словно в строю. А может, и не одну солдатскую головушку спасла эта травка, потому как раненому первым делом надо кровь остановить. А тысячелистник — первый помощник в этом.

— Значит, травы растут, чтобы людей спасать?

Тётя Поля растерялась, внимательно посмотрела на Федотку и вдруг всплеснула руками:

— Ай да чистая голова! Ай да ум!

— А болезни зачем? Потому что травы есть? — продолжал Федотка, яснея глазами, точно ему открывалось что-то новое и удивительное. — Потому что они от болезней помогают?

Тётя Поля притихла, немного помолчала, накрыв сумку ветвями липы.

— Болезни, Федотка, от разного. От работы, от времени...

— А тогда травы зачем?

— Как это? — не поняла тётя Поля.

— Зачем травы растут? Потому что болезни бывают?

Тётя Поля вовсе опешила, пробормотала:

— Не пойму тебя... Путляешь ты что-то...

— Нет, откуда они всё-таки про болезни знают? — тербил её Федотка. — Они же не люди...

— Откуда? — переспросила тётя Поля. Она расправила на коленях полинялую, выгоревшую на солнце юбку и бросила в притаившийся огонь последний пучок ромашек. — Этого, Федотка, никто не знает, кроме Травяного духа. Он прознаёт о людских, звериных, птичьих и всяких там болезнях и посылает разные

травы, чтобы все лечились. И неизвестна ещё, не открыта докторами иная болезнь, а травка уже растёт от неё...

— Никаких духов нет,— прервал Федотка тётю Полю, и в его глазах погасли зайчики любопытства.— Нам учительница говорила.

— А вот Травяной есть,— серьёзно повторила тётя Поля.

— Ты видела его?

— Видела.

— И какой он?

— Зелёный,— просто ответила тётя Поля.— А когда цветы зацветают, это значит — Травяной смеётся. Радует, что людям поможет.

Федотка замолчал. Ему не хотелось обижать тётю Полю. Да и кто знает, может, действительно, есть этот самый Травяной дух? Ведь помогли же травы маме. И раненым солдатам... Федотка тайком от тёти Поли посмотрел по сторонам, и отовсюду ему кивали жёлтыми, синими, белыми головами цветы, шептались травы, вполголоса переговаривались деревья...

Потом тётя Поля поила Федотку чаем из липы и зверобоя, и вдвоём они до последней капли выцедили из котелка густоватый, душистый напиток. Федотка покраснелся, чувствуя, как прибывает в нём сила. Он сказал об этом тёте Поле, и та согласилась:

— Как же — Лесной дух. Вся сила в нём!

— А у Белки тоже прибавится силы? — спросил Федотка.— Её в мамину группу определили. А там, в другом стаде, её плохо кормили и даже били...

— Били, говоришь? — повторила тётя Поля. Она помолчала, потом ответила: — Поможем, как же... есть у меня настой, с прошлой осени стоит... За две недели так выправим Белку твою, что и сам не признаешь!

Солнце перевалило зенит, и коровы, чувствуя спад жары, одна за другой потянули стадо на луг.

До самого вечера Федотка неустанно склонялся над

травами, цветами и ягодами, нёс их Полевичке, и оказывалось, что у каждой былинки была своя жизнь, удивительная и необходимая человеку. Перед самым закатом солнца он нашёл на песчаном откосе, заселённом редкими соснами, яркий мухомор и подумал, что наконец-то отыскал для всех вредный гриб. Но оказалось, и он полезен — мухомором лечатся лоси.

Домой стадо погнало, когда малиновое солнце исчезло за горизонтом, а на поседевшей траве выступила вечерняя роса.

Сытые коровы, покачивая круглыми боками, шли прямо домой, и луг за стадом пах молоком...

Тётя Поля повесила свою сумку на гвоздь под божницей и усадила пастуха в красный угол. Пока шипел чайник и жарилась яичница, она достала из сумки несколько пучков полыни и развесила их под окнами, заменив старые, засохшие.

— Это чтобы в доме не водились мухи,— пояснила она, но Федотка уже почти спал, не в силах разомкнуть от усталости ресницы.

— И за это тебя Полевичкой дразнят? — в полусне спросил мальчик и вмиг очнулся — вдруг тётя Поля обидится?! Но та просияла лицом, ответила:

— За это, мил человек, за это...

У Федотки отлегло от сердца, опять накатила усталость, снова сомкнулись ресницы, и захотелось уронить голову на руки.

— Умаялся, пастушок, умаялся... — над самым ухом приговаривала тётя Поля, помогая Федотке вылезти из-за стола. — Пойдём-ка спать. Я на сеновале тебе постелила...

Федотка освободился из рук Полевички и сам взобрался на сеновал. Оттуда качнулся и, как живой, обнял Федотку душистый запах трав, сохших по всему чердаку. Мальчик с облегчением поддался ему и склонил голову на приготовленную подушку. Губы его прошевелили что-то благодарное, а в глазах засветился утрен-

ними лучами новый день: откуда-то выпорхнула ласточка, держа в клюве синий конверт с большой красивой маркой. Она разжала клюв и уронила письмо прямо Федотке на плечо, а рядом промычала круглобокая Белка и приветливо вильнула густым хвостом, улыбаясь своими чистыми, внимательными глазами, Федотка хотел удивиться, но рядом с Белкой, откуда-то из земли, вырос старичок с длинной, до самых ног, зелёной бородой и глазами, похожими на ромашки. Старичок тоже улыбнулся Федотке, обеими руками приподнял бороду, словно помогая налетевшему ветру подлезть под неё, вместе с ним потряс бородой, и всё вокруг стало зеленым-зелено...

Федоткины губы ещё раз шевельнулись, притихли, и он уснул.



## СОДЕРЖАНИЕ

Иванов С.	
ВМЕСТО СКУЧНОГО ПРЕДИСЛОВИЯ...	3
Авдеенко В.	
ДВЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ	6
Алеников В.	
ЗАГАДОЧНОЕ ЖЕНСКОЕ СЕРДЦЕ	12
Бартенев М.	
ТРЕЩИНА	25
Волков В.	
СВЕТИТ МЕСЯЦ	35
МОЙ ДРУГ, ПАРЯЩИЙ В ПОДНЕБЕСЬЕ	41
У БАБУШКИ ДУНИ	48
Давитьянц Ж.	
СКАЗОЧНЫЙ ГАЛОП, ИЛИ КАК СЕДЛАТЬ КУПЧИКА	52
Дерило М.	
АЛЁНКИНА УХА	60
Коняев Н.	
ЛЯГУШКИ	80
РАЗОРВАННЫЙ БИЛЕТИК	83
КОГДА ВКЛЮЧАЮТ ФОНТАНЫ	87
Котюков Л.	
БАБУШКА	91
БЕСПОКОЙСТВО	93
Ломбина Т.	
ИЛЮШКА ПОТЕРЯЛСЯ	95
Маликова Г.	
МАХНУ СЕРЕБРЯНЫМ ТЕБЕ КРЫЛОМ	102
МЕСТЬ	111
Макеев С.	
РАЗВЕДКА МЕСТНОСТИ	121
ДРУЖОК	127
АКИ-ЗАДАВАКИ	133
ГОЛУБИНАЯ ВЕРНОСТЬ	135

<b>Минаев Б.</b>	
<b>УРОК МУЖЕСТВА</b>	<b>140</b>
<i>Рассказ пятиклассника</i>	
<b>Морозов В.</b>	
<b>ВЕЧНАЯ ЛЫЖНЯ</b>	<b>145</b>
<b>ПЕРЕНОВА</b>	<b>146</b>
<b>О ЧЁМ РАССКАЗАЛИ СЛЕДЫ</b>	<b>147</b>
<b>ЛЕСНАЯ ЁЛКА</b>	<b>148</b>
<b>РЯБЧИКИ</b>	<b>153</b>
<b>НАСТ</b>	<b>155</b>
<b>КАК РАСТУТ СОСУЛЬКИ</b>	<b>156</b>
<b>Носиков С.</b>	
<b>ЧУТУНКИ</b>	<b>158</b>
<b>ПЯТЁРКА ПО НЕМЕЦКОМУ</b>	<b>162</b>
<b>Остроухов А.</b>	
<b>РОДИЛСЯ ТЕЛЁНОК</b>	<b>166</b>
<b>Федичев Р.</b>	
<b>ВОСЬМОЙ ПРИЧАЛ</b>	<b>171</b>
<b>ФЕДОТКИНЫ ОТКРЫТИЯ</b>	<b>188</b>

*Литературно-художественное издание*

ДЛЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

**СВЕТИТ МЕСЯЦ**

**Рассказы**

Редакторы-составители Н. Е. Дубань, М. С. Ефимова.  
Художественный редактор Ю. Н. Стальская.  
Технический редактор Л. С. Стёпина.  
Корректоры Т. А. Нарышкина, Е. А. Сукиян.

ИБ № 12412

Сдано в набор 21.02.90. Подписано к печати 12.06.90. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бум. типогр. № 2. Шрифт таймс. Печать высокая. Усл. печ. л. 10,92. Усл. кр.-отт. 12,18. Уч.-изд. л. 9,16. Тираж 100 000 экз. Заказ № 4193. Цена 65 к. Орден Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени ПО «Детская книга» Госкомиздата РСФСР. 127018, Москва, Сушевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот».